ISSN 0207—4001

Даугава

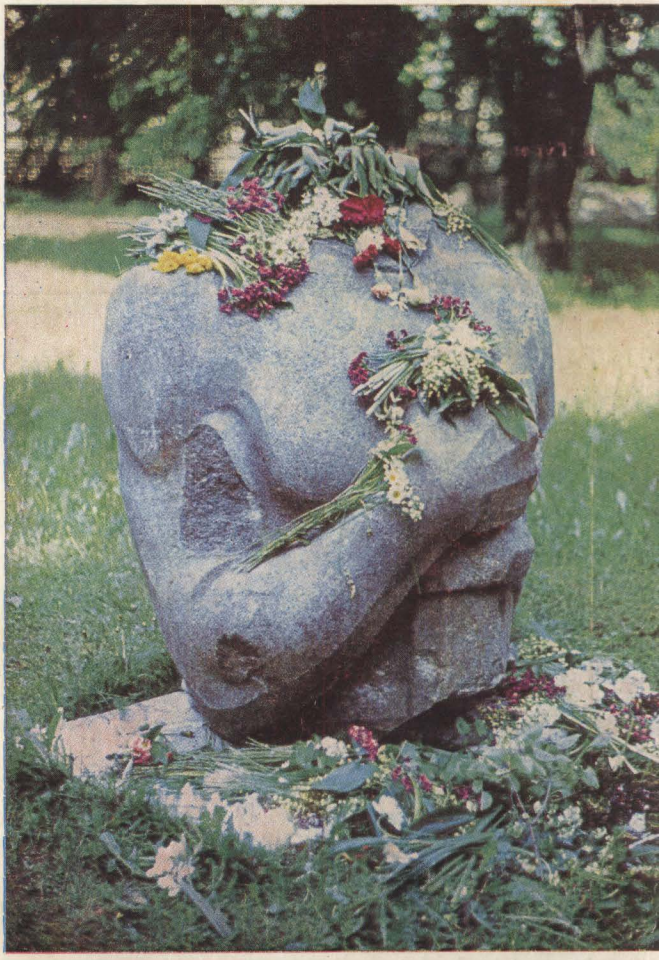
В НОМЕРЕ:

Я. РАЙНИС
Иосиф и его братья
(фрагмент)

Е. ГИНЗБУРГ
Крутой маршрут

«Андерграунд» выходит на поверхность

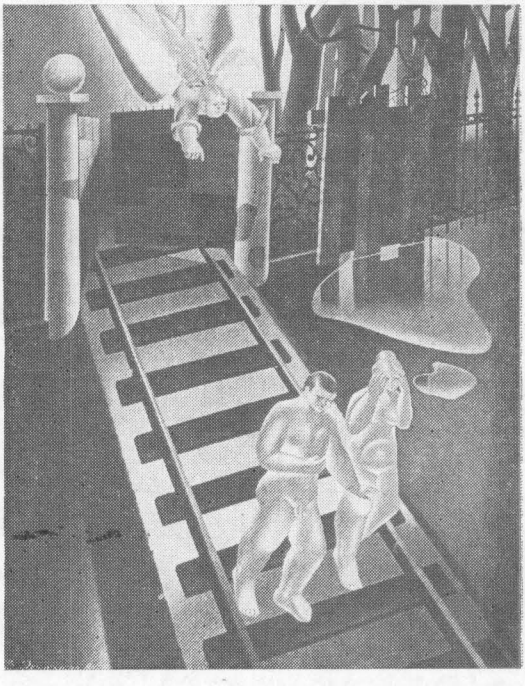
Место смерти – Курапаты



1988
9

ИЗ ВЫСТАВОК «АРТКОНТАКТА»

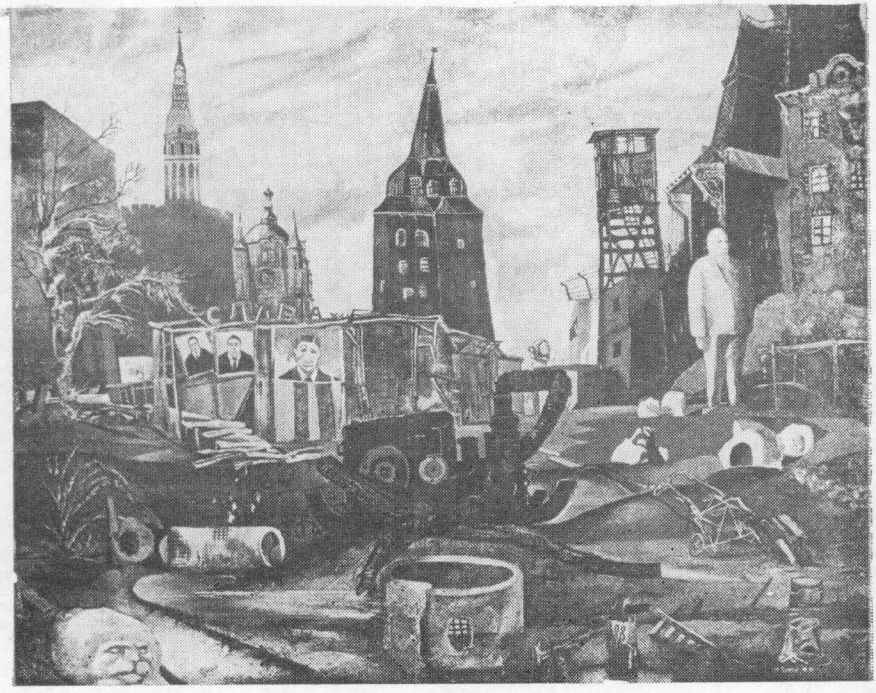
См. текст на с. 118 и репродукции в номере



В. Овчинников. Изгнание из рая

Л. Гуревич. История парада

Фото Валта Клейнса



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

9 (135)

СЕНТЯБРЬ
1988

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

ГИНЗБУРГ Е. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. Продолжение 3
РИГА С. Иосиф Райниса 50
РАЙНИС Я. Иосиф и его братья. Трагедия (фрагмент) 52

ДОЗОРЦЕВ В. Русские в Латвии . 61

Научная фантастика

НАБОКОВ В. Истребление тиранов. Послесловие Р. Тименчика 67

Незнакомое имя 82
ТАРНОВСКИЙ Ю. Заполярные стихи . . . 83
ЯКОБСОНС В. Мы так и не перешли на «ты» 90

Публицистика

БРИЦЕ Л., МАКСИМОВ С. «Андерграунд» выходит на поверхность 95

Журналистское расследование

ШЕРШОВ В. «Место смерти — Курапаты...» 105

(см. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ.
РИГА

В НОМЕРЕ (окончание):

Memoria

ПРИЕДИТИС А. Судьба не странного гения 111
ЗАЛИТИС Я. Лев Толстой в судьбе Карла Сиксне . . 114

Искусство

Два мнения об одном артконтакте

БУЖИНСКА И. «Алло!» — «Артконтакт» к вашим услугам . . . 118
ИВЛЕВ А. Изломанности . . 122

Почта «Даугавы» 128

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор.

Владлен ДОЗОРЦЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

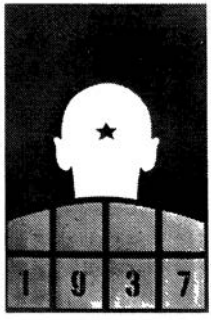
Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

© Издательство ЦК КП Латвии, «Даугава», 1988

Евгения ГИНЗБУРГ



КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

Глава тридцать первая

ПУГАЧЕВСКАЯ БАШНЯ

Спецкорпус, с его чистотой и раскладушками, теперь уже не для меня. Я теперь пересыльная и находиться должна в пересылке. Меня ведут в Пугачевскую башню. Да, здесь сидели пугачевцы. Моя соседка по нарам, Анна Жилинская, историк, подробно характеризует архитектуру, узкие прорези окон, витую лестницу.

Я говорю «соседка по нарам», но это не совсем точно. Не соседка, а «напарница». Мы с ней спим на том же кусочке нар «на пару», то есть по очереди. Нары сплошные. Камера набита вдвое плотнее, чем позволяют ее размеры. Те, кто не пристроился на нарах, спят на каменном полу. Даже большой некрашеный стол, стоящий посреди камеры, тоже используется по ночам как ложе.

Август 1937 года в Москве выдался знойный. Духота изводит нас. Мы снова, как в казанской тюрьме, сидим грязные, потные, в одних трусах и бюстгальтерах. Ежедневно прибывают новые, и уже совершенно неизвестно, куда их класть.

Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На то и пересылка... Передач здесь уже окончательно никто не получает. Лавочку тоже не выписывают. Сидим на одной пайке.

Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много совсем простых женщин: работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части «болтуны»,

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 7 и 8.

они же «язычники», то есть обладатели 10-го пункта 58-й статьи. Антисоветские агитаторы... Почти все они получили по 5—8 лет лагерей.

Моя цифра — 10 лет, да еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да по военной коллегии, вызывает в камере настоящую сенсацию.

Ведь это было до 1 октября 1937 года, когда были введены 25-летние сроки. Пока еще «десятка» была максимумом, шла непосредственно за «вышкой» и окружала получившего ее человека своеобразным ореолом мученичества.

О таких обычно думали, что они принадлежат к высшим слоям советского общества. Так, обо мне кто-то пустил слух, что я — жена Пятакова, и мне трудно было разубеждать людей в этом.

Кроме меня с десятилетним сроком была здесь только еще одна — баба Настя, шестидесятипятилетняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не зная, как сочетать зловещие слова о «троцкистской террористической организации» с мягкими чертами морщинистого лица бабы Насти, с ее горестными старушечьими глазами истовой богомолки.

Сама баба Настя недоумевала больше всех и, услыхав, что я — такая же, как она, подтащила к моим нарам свой узелок с вещами и села на него у меня в ногах. И узелок, исконный, сермяжный, уводящий в проселочную Русь, и сама баба Настя, внимательно глядящая на меня, вызывали во мне жгучий стыд, подобный тому, какой я испытывала в коминтерновской камере, слушая немецких коммунисток.

— А что, доченька, слышь-ка, ты тоже, стало быть, трахтистка?

— Нет, баба Настя. Я самая обыкновенная женщина. Учительница. Мать своим детям. Всю эту небыль следователи и судьи выдумали. Они, наверно, вредители. Потерпим, баба Настя. Я думаю, разберутся...

Баба Настя мелко кивает старушечьей головой, до самых бровей обвязанной платком.

— Так-так... Вот и про меня, вишь ты, наговорили. И прописали: трахтистка. А ведь я — веришь, доченька, вот как перед истинным — к ему, к окаянному трактору, и не подходила вовсе. И чего выдумали «трахтистка»... Да старух и не ставят на трактор-то...

Кто-то из соседок заливается хохотом. Анна Жилинская спросонья бормочет:

— Умри, баба Настя, лучше не скажешь!

А мне не смешно. Мне стыдно. И когда только я перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это? Ведь я уже давно не молот, а наковальня. Но неужели и я могла стать этим молотом?

После суда и приговора я стала слезливой. И сейчас, глядя на бабу Настю, чувствую, как слезы подступают к горлу. Моя мама моложе бабы Насти на восемь лет. Но немыслимо представить себе ее в таком положении.

Я не знала тогда, что в это время мои старики тоже были взяты. Их продержали только два месяца, но и их оказалось достаточно, чтобы отец вскоре после освобождения умер, а мама заболела диабетом, сведшим ее позднее в могилу.

...Книг в пересылке не дают. Поэтому разговоров еще больше, чем в спецкорпусе. Рассказы, рассказы... Каждый говорит не только о себе, но и обо всем виденном на тюремном пути. Кроме того, здесь усиленно занимаются географией. Над камерой летят, прорезая общий гул, названия: Колыма, Камчатка, Печора, Соловки... Меня все это не коснется. Ведь благодатная каторга не для меня. Меня ждет одиночка. Некоторые соседки поразительно эрудированы. И меня все же втягивают в занятия географией. У «тюрзаков», то есть у тех, кто получил, как я, не лагеря, а тюрьму, есть свои географические пункты: Суздаль, Верхнеуральск, Ярославль. Бывшие политизоляторы. Одиночки.

Анна Жилинская успокаивает меня. Она слышала, что там неплохо. Дают книги. Чисто. Не голодно.

Но этим иллюзиям вскоре суждено рассеяться. Однажды на рассвете в нашу башню «всыпали» еще новую группу пересыльных.

— Ничего, потеснитесь! Скоро большой этап, — буркнула надзирательница в ответ на возгласы о тесноте.

Среди новеньких была московская партработница Раиса... фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский Пленум ЦК. На нем выступил «хозяин». Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они «превращены в курорты». Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки. Выживем ли? На эту тему мы беседуем втроем: Анна Жилинская, я и Таня Андреева, харбинка. Таня напоминает мне Ляму. Так же активно добра, участлива к товарищам по несчастью. Я с интересом слушаю ее рассказы о Шанхае, где она долго жила, о русских эмигрантах, о приезде Тани в СССР к мужу-коммунисту, об аресте обоих.

Тане дали 8 лет лагерей, но она полна оптимизма.

— Выживу! Я буду начальницам маникюр и педикюр делать. Заграничную прическу...

Таня смеется, прищуривая свои узкие черные глаза, о которых она сама говорит, что они «окитаились».

— Потом у меня много шелковых тряпок. Я буду раздавать их надзирательницам, чтобы меня не мучили. Вот смотрите!

Таня развертывает узел с вещами, и над вонючим адом Пугачевской башни расцветают волшебные цветы китайских шелковых халатиков.

Анна, наоборот, полна ужаса, и пессимистические прогнозы по поводу нашей судьбы так и сыпятся с ее уст.

— Это все у вас растащат в этапах, Танюша. Этим не спастись. А замучат нас всех обязательно. Вопрос только в сроках. Вы этого не знаете обе, потому что не сидели на Лубянке. А я была там три месяца.

— Зато я в Лефортове, — отстаиваю я свою тюремную квалификацию.

— В Лефортове последний акт трагедии. Там расстреливают. Почти всех, кроме таких счастливых единиц, как вы, Женя. А на Лубянке — острый период следствия. Если бы вы видели мою следовательницу. Да, это была женщина. Чудовище. Калибан.

Однажды ночью Анна рассказала мне историю своей лубянской сокамерницы — коммунистки Евгении Подольской.

— Послушайте, Женя, я чувствую, что не выживу. Я должна кому-то передать поручение. Я дала Евгении слово — рассказать все ее дочери.

— Евгения умерла?

— Наверно. Но согласны ли вы выслушать? Ежов сказал, что расстреляет каждого, кто будет это знать . . .

Чтобы выслушать эту историю, мы отправляемся в уборную. В башне на оправку не ходят, уборная здесь же, в маленькой пристройке сбоку камеры. Мы стоим около узкого длинного окошка, украшенного причудливыми переплетами решеток, у окошка, напоминающего XVIII век, пугачевцев и палачей, отрубающих головы на плахе.

И Анна, судорожно торопясь, блестя расширенными глазами, повествует . . .

Однажды ночью, в двухместной камере Лубянки, она проснулась от какого-то журчащего звука. Это тихонько лилась кровь из руки ее соседки. Образовалась уже порядочная лужа. Соседка Анны — это и была Евгения Подольская — вскрыла себе вены бритвочкой, украденной у следователя.

На крик Анны прибежали надзиратели. Евгению унесли. Она вернулась в камеру через три дня и сказала Анне, что жить все равно не будет. Вот тут-то Анна и дала ей слово, что, если выживет, расскажет все ее дочери.

Когда Евгению вызвали впервые в НКВД, она не испугалась. Сразу подумала, что ей, старой коммунистке, хотят дать какое-нибудь серьезное поручение. Так и оказалось. Предварительно следователь спросил, готова ли она выполнить трудное и рискованное поручение партии. Да? Тогда придется временно посидеть в камере. Недолго. Когда она выполнит то, что надо, ей дадут новые документы, на другую фамилию. Из Москвы придется временно уехать.

А поручение состояло в том, что надо было подписать протоколы о злодейских действиях одной контрреволюционной группы, признав для достоверности и себя участницей ее.

Подписать то, чего не знаешь?

Как? Она не верит органам? Им доподлинно известно, что эта группа совершала кошмарные преступления. А подпись товарища Подольской нужна, чтобы придать делу юридическую вескость. Ну есть, наконец, высшие соображения, которые можно и не выкладывать рядовому партии, если он действительно готов на опасную работу. Шаг за шагом она шла по лабиринтам этих силлогизмов. Ей сунули в руки перо, и она стала подписывать. Днем ее держали в общей камере, ночью вызывали наверх и, получив требуемые подписи, хорошо кормили и укладывали спать на диване.

Однажды, придя по вызову наверх, она застала там незнакомого следователя, который, насмешливо глядя на нее, сказал:

— А теперь мы вас, уважаемая, расстреляем...

И дальше в нескольких словах популярно разъяснил ей, какую роль она сыграла в этом деле. Мало того, что он осыпал ее уличной бранью, он еще цинично назвал ее «живцом», то есть приманкой для рыб, и объяснил, что ее показания дают основания для «выведения в расход» группы не менее 25 человек. Потом она была отправлена в камеру, и там ее теперь держали без вызова больше месяца. Тут-то и пригодилась бритва, унесенная как-то из следовательского кабинета...

— Это была одна из тех, кто без всякой мысли о своей выгоде или спасении, из одного только фанатизма, погубила себя и многих других, — рассказывала Анна, — ее душевные муки были настолько непереносимы, что я и сама поверила в то, что ей надо умереть. Я не отговаривала ее больше. Просто дала ей слово, что все передам ее дочери, если сама останусь в живых.

Теперь Анна передавала этот секрет мне, хотя мой приговор был страшнее, чем ее. Я обещала. Заучила наизусть адрес дочери Евгении Подольской. К сожалению, я не сдержала этого обещания, так как в 1955 году, когда после восемнадцатилетнего перерыва снова приехала в Москву, я начисто забыла не только адрес, но и имя этой девушки. Слишком много наслоений легло за 18 лет на мою довольно сильную память. Они замели, занесли этот адрес.

А может, это и лучше. Надо ли было дочери знать трагедию матери, приведшую к гибели стольких людей?

В Пугачевской башне я пробыла только две недели, но это было тяжелое время. Особенно мучительно было ночью, когда очередь спать была не мне, а Анне, а мне надо было сидеть на краешке нар, у ее ног, борясь со сном. Явь сливалась с полубредовыми снами наяву. Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущееся, кряхтящее, казалось в такие минуты гигантской общей могилой, куда свалили недостреленных.

В одну из таких ночей появились корпусной и три надзирательницы сразу. С длинными листами бумаги в руках. Большой этап. Читают список. Люди вскакивают и судорожно хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой этап... Большой этап...

Глава тридцать вторая

В СТОЛЫПИНСКОМ ВАГОНЕ

Эти вагоны так и остались непереименованными. Их по-прежнему называли столыпинскими, и это никого не удивляло. Вагоны эти были мрачны, но чисты. Вполне я оценила их только спустя два года, когда больше месяца пришлось ехать от Ярославля до Владивостока в битком набитой теплушке. Но сейчас массивные решетки и усиленный конвой наводили смертную тоску.

Хотя нас везли, конечно, опять в «черном вороне» и подвозили к каким-то особым запасным путям, но все же я успела уловить маячившие на горизонте очертания Северного вокзала. Значит, Ярославль. Это был худший из трех возможных вариантов. Я много наслышалась в Пугачевской башне об одиночном корпусе Ярославской тюрьмы, построенной Николаем II после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И в наше время, продолжая традиции прошлого, Ярославский политизолятор приобрел славу места с усиленным режимом. А я так надеялась на Суздаль. Там политизолятор помещался в здании бывшего монастыря, и я часто тешила себя мыслью, что келья — все же не камера. Да и про Верхнеуральск говорили, что там много легче, чем в Ярославле.

— Ах, геноссин, вир зинд дох беканнт...

Я сразу узнаю золотоволосую немецкую киноактрису Кароллу Неер-Гейнчке, ту самую, которая прятала свои золотые вещички во время того памятного первого бутырского обыска. Каролла за это время очень изменилась. Потускнело темное золото волос, у рта обозначились тонкие скорбные морщинки. Но она стала еще обаятельней, чем прежде. Лицо белое, как слоновая кость, без малейшего намека на румянец, детская улыбка, грустные темно-желтые янтарные глаза.

Приговор Кароллы был повторением моего. Только ей, конечно, было в тысячу раз хуже моего, потому что вдобавок ко всему она еще была без языка. В камере, куда она попала, никто не говорил по-немецки.

И теперь, вспомнив несколько случайных фраз, которыми мы с ней обменялись во время первой встречи, она не нарадуется, что нашла собеседницу, хотя и с ошибками, но говорящую на ее родном языке.

Она ничего не знает о муже. Но точно уверена, что его уже нет. Оно не обманывает, это ощущение неотвратимого вечного одиночества, которое у Кароллы теперь всегда вот здесь... Она показывает не на сердце, а на горло.

— Ты бы подождала по-немецки шпарить. Хоть пока тронемся, что ли... А то еще за фашистку примут...

Это говорит мне наша третья компаньонка по столыпинскому купе — вологодская партработница, имени которой сейчас вспомнить не могу. Голос у нее хриплый. Вологодское «о» выпирает из речи. Губы растрескавшиеся. Худое длинное лицо почернело до того, что кажется обгорелой головешкой. Только легкие северные белокурые прядки у висков отдаленно напоминают, что это была когда-то женщина.

Состояние у нее маниакальное. Она никак не может перестать оправдываться. Все время говорит и говорит. В ее речи пестрят цифры каких-то планов по молокосдаче, возражения какому-то Воскобойникову, который «завысил показатели». Она говорит обо всем этом так, точно мы хорошо знакомы со всеми этими обстоятельствами и людьми. Время от времени прерывает сама себя легким вскриком боли. Ее держали «на стойке» долгими днями и ночами и сейчас у нее адские боли в ногах.

Четвертой в купе оказалась казанская Юлия Карепова, та самая, с которой мы ехали этапом из Казани в Москву. Она тщетно пытается переговорить вологодскую и перевести разговор на Казань.

Но вот поезд переводят на обычный путь, и перед нами сквозь решетки появляется кусок жизни. Той самой обольстительной будничной человеческой жизни, которую мы так давно не видели. Уголок Северного вокзала. Подошел дачный поезд, и из него вылилась веселая, пестрая толпа людей с букетами цветов, с улыбками, с детьми, с вещами. Нет, не с теми страшными узлами, какие именуются «вещами» у нас в тюрьме, а с теми милыми, трогательными вещами, которые остались там, за стенами. Пакеты с фруктами, чемоданчики, игрушки.

Мы замираем у окна. Конвоир почему-то равнодушен, не отгоняет нас. Нас заметили с платформы. Какая-то девушка в цветном платье испуганно прижимается к руке спутника и с расширенными глазами лепечет ему что-то, показывая на нас. Доносится слово «троцкисты», потом «настоящие живые троцкисты»... Вероятно, она говорит ему, что впервые в жизни увидала «живых троцкистов».

Потом проходит женщина с двумя мальчиками, и я чувствую, что почти умираю не только от острой зависти, но и от изумления. Значит, еще кто-то держит за руки своих детей?

Но вот поезд трогается. Жадно вглядываюсь в проплывающее перед нами Подмосковье. На станциях — лозунги. Красные кумачовые лозунги. И все до одного говорят о вредительстве. «Ликвидируя последствия вредительства на транспорте, обеспечим...» А вот едем мимо сельмага, украшенного лозунгом: «Ликвидируем последствия вредительства в торговой сети, укрепим...» Электростанция. «Ликвидируя последствия вредительства в промышленности, перевыполним...»

— Юлия! Посмотри, что за чудо: вредительство во всех отраслях народного хозяйства.

— Тш-ш... Начальник конвоя... Молчи...

Поезд вырывается в природу. Вторая половина августа. Доносятся полевые запахи. Птицы сидят на проводах, как ноты на линейках. Мы едем в Ярославль, прохладный чистый город, весь светло-голубой. Я была там с мужем в 34-м году. Теперь он кажется не светло-голубым, а свинцовым. Стучат колеса. С каждым ша-гом, с каж-дым ша-гом...

Одиночка. Десять лет. Будут идти дни за днями, августы за августами. Мои сыновья превратятся почти в мужчин. Сама я — в старуху. И каждый день я буду слышать только пять слов: подъем, кипяток, оправка, прогулка, отбой... Я разучусь говорить. Я забуду, какого цвета небо и Волга. В одиночках всегда водятся крысы.

Передо мной мелькают образы Монте-Кристо, княжны Таракановой, младенца-царя Иоанна Антоновича... Гудок весело заливается. Каролла стонет во сне по-немецки.

В Ярославль мы прибыли в золотой закатный час. Наш вагон опять где-то на боковой линии. Платформы нет, и мы спрыгиваем прямо на темно-желтый сыроватый песок, который сладко пахнет детством.

Почему-то «черного ворона» нет поблизости. Нас не встретили. Конвоиры нервничают и перешептываются. А мы, счастливо улыбаясь, усаживаемся на свои узлы и жадно глотаем свежий волжский воздух. Ага, значит и в тюремной системе не все хорошо организовано! Целых десять минут мы ждем транспорта, алчными глазами впиваемся в высокое небо и замираем от восторга при виде залетевшей с Волги чайки.

Неожиданностям нет конца. Вдруг выясняется, что нас повезут не в «черном вороне», а в самом обыкновенном грузовике с открытым кузовом. В это почти невозможно поверить. Неужели мы, дети подполья, живущие неправдоподобной жизнью застенков, увидим сейчас обыкновенные городские улицы, идущих по ним свободных людей?

Юля торопливо делится своими весьма оптимистическими прогнозами: раз везут в открытой машине, значит — режим будет совсем легкий. Значит, все бутырские слухи о резком усилении тюремного режима были «парашами».

— Грузись давай!

И вот мы едем по улицам Ярославля. Я узнаю гостиницу, в которой останавливалась с мужем за четыре года до того. На набережной много гуляющих. Мы видим Волгу. Стараемся глубже дышать, чтобы надолго надышаться. Каждый вдох возвращает к жизни.

Красота и необычный костюм Кароллы привлекают внимание. На нас с любопытством оглядываются. Кое-кто улыбается нам.

— Привет, девушки! — кричит рослый парень, идущий в группе приятелей.

Они машут кепками. Горячая волна любви к этим незнакомым

людям заливает меня. Как хорошо, что их никто не трогает, что они каждый вечер гуляют по набережной!

Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это Коровники, знаменитая Ярославская тюрьма.

Но мы не простые преступники. Мы особо важные, государственные. И нас провожают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже от остальной, обычной тюрьмы.

Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо погребенными.

Глава тридцать третья

ПЯТЬ В ДЛИНУ И ТРИ ПОПЕРЕК

Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом — багрово-кровавым, а сверху — грязно-белесым. Я иногда могу воспроизвести в подошвах ног ощущение той или иной щербинки в каменном полу этой камеры. Камеры № 3, третий этаж, северная сторона.

И до сих пор помню ту тоску всего тела, то отчаяние мышц, которое охватывало меня, когда я мерила шагами отведенное мне теперь для жизни пространство. Пять шагов в длину и три поперек! Ну, если делать уж совсем маленькие шажки, то получится пять с четвертью. Раз-два-три-четыре-пять... Заворот на одних носках, чтобы не занять этим заворотом лишнего места. И опять: раз-два-три-четыре-пять...

Железная дверь с откидной форточкой и глазком. Железная, привинченная к стене койка, а у противоположной стены — железный столик и откидная табуретка, на которой очень мучительно сидеть, но которую зато хорошо видно надзирателю в глазок. Ничего, кроме камня и железа!

Окно, выходящее на север, высокое одиночное окно, густо зарешеченное еще покойным Николаем II, перепуганным революцией пятого года. Но кто-то испугался еще больше, чем Николай, и закрыл окно сверх решетки страшно высоким и плотным деревянным щитом, обеспечивающим постоянную полутьму в камере.

Кусочек светло-голубого высокого ярославского неба, остающийся сверху, над этим щитом, кажется узеньким ручейком. Но и этот ручеек часто закрывают вороны. Эти зловещие птицы почему-то всегда кружатся здесь в изобилии, точно ощущая близкую поживу. Ни зимой, ни летом не было от них избавленья. И когда я вспоминаю окошко моей ярославской камеры, то вижу его неизменно в обрамлении черного ожерелья, образованного воронами, сидящими на верхушке щита.

Из камеры выводят три раза в сутки. Утром и вечером на оправку. Днем — до или после обеда — на прогулку. Как хорошо, что моя камера далеко от уборной! Приходится пройти почти весь коридор. Он имеет вид галереи, окружившей со всех сторон лестничный пролет. А пролет весь затянут плотной сеткой. Чтобы не самовольничали, не бросались вниз с третьего этажа, чтобы умирали не тогда, когда им это вздумается, а когда будут на это высшие соображения.

Весь коридор устлан чудесным плюшевым половиком, в котором нога тонет и шаги становятся совсем бесшумными. Идя на оправку, стараешься шагать как можно медленнее, инсценируя слабость, такую естественную в условиях одиночки. Стараешься использовать каждую секунду, чтобы охватить своим цепким тренированным взглядом одиночника все окружающее. Ведь коридор — это целый огромный мир по сравнению с камерой.

Вряд ли сам Шерлок Холмс сделал бы большее количество ценных наблюдений, осматривая этот уголок мира, чем делаю их я, после каждой оправки расширяя свое представление о месте, где я нахожусь. Я прекрасно овладела холмсовским «дедуктивным методом».

Вот большой деревянный ящик у коридорного окна. В него бросают остатки хлеба. Да, это вам не Бутырки! Там вызвало бы смех самое понятие «остатки хлеба». Как будто хлеб может оказаться лишним! Но в одиночках не хочется есть. И я регистрирую ежедневный рост количества выброшенных «паек». Некоторые прямо целиком, нетронутые. Может быть, кто-то объявил голодовку!

А вот открытая дверь в камере на противоположной стороне. Обитательница, видно, на прогулке. С завистью отмечаю, что мне досталась худшая доля. Та сторона лучше, та — южная. Туда проникают лучи солнца, хоть и сильно приглушенные щитом. А у меня внизу по стенам — густой узор плесени. Ревматизм здесь обеспечен.

Выход на прогулку — центр и основное событие дня. Оно обставлено такой торжественностью, точно ты по меньшей мере Мария Стюарт. Примерно за четверть часа до вывода открывается дверная форточка и в камеру просовывается голова надзирателя.

— Приготовьтесь на прогулку, — говорит он таким таинственным, еле слышным шепотом, что кажется — кто-то рядом умирает.

Одеваешься и с замиранием сердца ждешь того вожделенного момента, когда раздастся звук поворачиваемого в железной двери ключа. Надзиратель, охраняющий эту часть коридора, ведет меня до следующего конвоира, который доводит до начала спуска по лестнице. А там меня принимает надзиратель второго этажа. Он ведет эту крупную государственную преступ-

ницу до нижнего этажа, и уже тамошний надзиратель подводит меня к прогулочному дворику, над которым возвышается тюремная вышка, а на ней еще один надзиратель, не спускающий с меня глаз во все время прогулки.

Таким образом, пять человек, здоровенных молодых мужиков, как бы самой природой созданных для выполнения производственных планов на предприятиях и в колхозах, принимают участие в выводе на прогулку такой крупной террористки, как я. У всех у них непроницаемые лица, полные сознания важности выполняемых функций и гордости от оказанного им доверия. Воображаю, что им говорят о нас на политзанятиях!

Прогулочные одиночные дворики — это, собственно, те же камеры, только без крыши. Залитый асфальтом двор разделен на пять-шесть клеток по 15 примерно метров величины. Стены грязно-серые, внизу тоже асфальт. Ни травинки.

Руки во время прогулки, хотя ты и гуляешь одна-одинешенька, надо держать за спиной. Потоптавшись в таком дворике минут 10—15, ты снова поступаешь в руки надзирателей, которые, передавая тебя, как эстафету, из рук в руки, чередуясь в обратном порядке, доводят тебя до твоей камеры.

Но даже такую прогулку я вспоминаю с нежностью. Это был все-таки кусочек жизни, проникший в мою могилу. Прогулки ждешь всегда с нетерпением, ее вспоминаешь вечером. Лишение прогулки — а такие взыскания применяются часто — воспринимаешь как страшное бедствие. Как-никак, а пятнадцать метров — не пять. Да и небо...

До смерти не забуду я это чистое, высокое ярославское небо. В других городах нет такого. К тому же на нем то и дело мелькали залетавшие с Волги чайки.

А пароходные гудки? Разве можно найти слова, чтобы передать чувство, вызываемое в душе одиночника этими гудками? А я еще к тому же волжанка. Я воспринимаю их, как голоса живых друзей. Ведь я знаю их в лицо, эти пароходы. Белые гордые лебеди — бывшего общества «Самолет»... Торопливые работяги-буксирчики, волочащие баржи... Резкоголосые местные пароходики-экскурсовозы...

Конвоирам и в голову прийти не может, как много впечатлений, мечтаний, сладостных воспоминаний можно вынести из пятнадцатиминутной прогулки в этой серой камере без крыши.

После прогулки появляется аппетит и хоть с трудом, но съедаешь обед. Здесь дают столько еды, что умереть определенно нельзя. Но, с другой стороны, качество пищи такое, что и жить вряд ли можно. Вся пища абсолютно безвитаминная. Утром — хлеб, кипяток и два кусочка пиленого сахара. В обед — баланда и сухая, без всяких жиров, каша. На ужин — похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнущая рыбьим жиром. Каши чередуются: овсянка, перловка, пшено. Чаще всего крупная перловка, которую в Бутырках звали «шрапнель». Зато суп, наоборот, гречневый.

Как видно из правил, вывешенных на стенах, здесь разрешаются книги — по две на 10 дней. Но в первый месяц моего пребывания здесь библиотека как раз закрыта — инвентаризация, и 16 часов свободного времени предоставляется заполнять по своему усмотрению. Пытаюсь создать какой-то ритм, какой-то режим, чтобы не сойти с ума. Самое главное — не разучиться бы говорить! Конвоиры выдрессированы на полное молчание. Они говорят в день пять-шесть слов: подъем, оправка, кипяток, прогулка, хлеб...

Попробовала заняться гимнастикой перед завтраком. Щелк дверной форточки.

— Запрещено!

Попробовала прилечь после обеда. Опять щелк.

— Лежать только после отбоя. С 11 вечера до 6 утра.

Что же тогда? Стихи... Только они... Свои и чужие...

И вот я кручусь взад и вперед на расстоянии своих пяти шагов и сочиняю:

Хоть разбейся здесь, между плитами,
Пресечение всех дорог!
Как ни складывай, ни высчитывай —
Пять в длину и три поперек...

Нет, не выходит без карандаша... Трудно быть акыном.

На после обеда у меня намечен Пушкин. Я мысленно читаю себе лекцию о нем. Потом читаю наизусть все, что помню. Оказывается, память, освобожденная от внешних впечатлений, вдруг раскрылась, как куколка в бабочку. Чудеса! Даже «Домик в Коломне», выходит, знаю, весь наизусть. Хорошо, хватит до ужина.

Самое страшное наступало именно после ужина. Тишина сгущалась, приобретала какую-то осязаемую душную силу. Тоска начинала грызть не только те места, которые ей положено, то есть сердце и голову. Нет, она теперь впивалась во все тело. Даже волосы, казалось, пружинились от отчаяния. Хоть бы один звук...

Но когда звук раздавался, становилось еще хуже. Вот скользящий шаг надзирателя. Вот еле уловимый звучок поднятого и снова опущенного глазка. Вот мышь скребется. Нет, от этих звуков еще больнее.

Хуже всего, что пытка бессонницей во время следствия нарушила сон. Заснуть почти невозможно. Мысль о том, что истекают положенные для сна часы, а днем спать не дадут, приводит в окончательное отчаяние. Торопишься заснуть, боишься, не пропало бы время. А от этого сон окончательно проходит.

Стихи... Они одни... И я сочиняю в уме, как акын. У меня получаются очень узенькие стихи.

Тишина

Каждый шорох,
Шепот,
Шаг
Жгут, как порох,
И глушат...
Словно пряжа,
Рвется тишь...
Сердце?
Стража?
Или мышь?
Как мембрана,
Вся душа.
Саднит раной
Каждый шаг.
Мо-ло-точ-ки
Бьют в висках...
Нет отсрочки —
Ночь близка.
Ночь, как вата,
Душный ком.
Все утраты
Здесь, рядком.
Как поверить?
Что не ложь?
Каждый шелест
Словно нож.
Звук вдруг смялся,
Как в бреду.
Кто остался?
Что найду?

. . . . . .

Ночь все шире,
Злее сны...
Сколько ж в мире
Ти-ши-ны?

Глава тридцать четвертая

ДВАДЦАТЬ ДВЕ ЗАПОВЕДИ МАЙОРА ВАЙНШТОКА

Они висят на стене, прямо над моей железной койкой. Книг все еще не дают, и 22 заповеди — пока единственное доступное мне печатное слово. Я штудирую его до одурения.

Весь опус делится на три неравные части: «Заключенные обязаны», «Заключенным разрешается» и самый длинный раздел — «Заключенным запрещается».

Заключенные обязаны были безоговорочно выполнять все распоряжения тюремной администрации, производить в установленные дни уборку камеры, выносить два раза в день нечистоты.

Разрешалось переписываться (в принципе, а конкретно требовалось индивидуальное разрешение начальника тюрьмы) с ближайшими родственниками, к которым причислялись только родители, супруги и дети. Им можно было отправлять 2 письма и столько же получать. От этих же ближайших разрешалось получать не свыше 50 рублей в месяц и на эти деньги выписывать продукты из тюремного ларька. Можно было пользоваться прогулкой, длительность которой устанавливалась начальником тюрьмы, и получать из тюремной библиотеки 2 книги на 10 дней.

Этими благами исчерпывался гуманизм майора Вайнштока. Зато раздел «Заключенным запрещается» был разработан весьма досконально, с похвальным знанием дела. Запрещалось подходить к окну и садиться спиной к двери. Делать пометки в книгах и перестукиваться с соседями. Запрещалось разговаривать (с кем бы это?) и даже петь (!) в камере. И еще многое, многое другое.

В конце разъяснялось, каким наказаниям будут подвергнуты заключенные за нарушение этих запретов. Здесь со вкусом перечислялся весь арсенал тюремных средств. Лишение прогулки, библиотеки, ларька, переписки, заключение в карцер и, наконец, отдача под суд.

Документ был подписан: «Начальник тюремного управления ГУГБ майор Вайнштоκ». В левом верхнем углу значилось: «Утверждаю. Генеральный комиссар гос. безопасности Ежов».

И все хотели только одного — стабильности этих правил. Это выяснилось спустя два года, во время этапа на Колыму. Все мечтали только о том, чтобы «хуже не было», потому что каждый день приносил явственное ощущение нарастания ужаса и беззакония. Чья-то дьявольски изобретательная мысль неустанно работала, кто-то трудолюбиво отыскивал щелочки в наших склепах и старательно заштукатуривал их.

Каждый день приносил новости. Еще вчера окно в конце коридора было просто замазано мелом. А сегодня и на этом окне уже висит мрачный щит. Еще вчера надзиратель не обращал никакого внимания на то, что я сижу спиной к глазку. А сегодня он открывает дверную форточку и зловеще шипит:

— Сядьте прямо!

Прогулка становится все короче, квитанции на выписку продуктов из ларька выдаются все реже. И главное — сменен начальник тюрьмы.

Мне удалось еще застать старого. Он приходил на другой день после приезда моего в Ярославль. Я слышала о нем еще

в Бутырках. Это был типичный представитель старого «политизоляторского» стиля. Ведь до 1937 года здесь отнюдь не добивались смерти заключенного.

Добродушный круглолицый человек, чуть приоткрыв дверь, спросил:

— Можно?

А войдя, поздоровался, потом спросил, какие претензии у меня есть, какие просьбы. Успокоил, что библиотека скоро откроется, принял заявление на переписку с матерью и ушел, оставив ощущение порядочности.

Каждым словом, мимикой этот человек как бы говорил: «Я только служу и без всякого воодушевления. А что от меня зависит — рад сделать».

Увы, это была первая и последняя встреча. Решения июльского пленума об усилении режима в тюрьмах проводились в жизнь.

Через пять-шесть дней дверь моей одиночки резко открылась, и вошел очень черный человек в военной форме. Он поверблюжьи глубоко сгибал при ходьбе колени и смотрел в одну точку, мимо человека, к которому обращался.

Новый начальник тюрьмы.

— Вопросы есть? — отрывисто бросил он

Типом лица и выражением его новый начальник напоминал грузинского киноактера в гриме злодея. С такими лицами двуногие коршуны Грузинской киностудии клевали и заклевывали насмерть белую голубку — Нату Вачнадзе.

Я сразу окрестила его фамилией Коршунидзе, а после повторных его визитов добавила: «урожденный Гадиашвили». В дальнейшем он всегда именовался в наших этапах именно так, и многие стали всерьез считать это его фамилией.

Говорил он, сцепив длинные зубы и выталкивая слова, точно преодолевал глубокое внутреннее отвращение.

— Вопр-р-росы у вас есть?

— Скажите, долго я буду находиться в одиночке?

— Разве вы не знаете своего приговора? Десять лет!

После этого единственного диалога я стала всегда говорить, что вопросов нет. Да и о чем было его спрашивать? Все и так было ясно.

Однако жизнь внесла свои коррективы в двадцать две заповеди майора Вайнштока и в прогнозы из Москвы. Тюрьма трещала по швам, не в силах справиться с новыми задачами. И наперекор духу «заповедей» в одиночки стали вносить вторые койки. Происходило уплотнение.

Нарушая могильную тишь, зазвякали в коридоре железки, зашептались надзиратели. Разгадав значение звуков, я с трепетом ждала, что они принесут мне. Робинзон ждал своего Пятницу. И в один прекрасный день Пятница был обретен. Это было чудо, из тех самых чудес, про которые говорят: «в жизни этого не бывает». Но факт остается фактом. Из всех возможных десятков

вариантов осуществился именно этот: ко мне в камеру была подсажена казанская знакомая — та самая Юля Карепова, с которой нас этапировали на военную коллегию в Москву.

Глава тридцать пятая

СВЕТЛЫЕ НОЧИ И ЧЕРНЫЕ ДНИ

Мы говорили по двадцать часов в сутки. Охрипли. Настроение было приподнятое. Переполняло гордое сознание, что ты человек, владеющий связной речью, способный к общению с другим человеком.

За короткое время я изучила до мельчайших деталей не только жизненный путь самой Юли, но и биографии всех ее родственников до третьего колена.

Я по шесть часов в день читала ей стихи. Мы повторно рассказали друг другу основательно зачерствевшие бутырские новости.

Потом наступила реакция. Мы внезапно замолчали, углубились в себя, в мысли о вариантах исхода. Как ни варьируй, а все чаще единственным выходом стала казаться смерть.

Спасение от самой себя приходит совершенно неожиданно. Вдруг открывается дверная форточка, и в нее просовывается какая-то папка, похожая на классный журнал. Вслед за папкой — белобрысая голова надзирателя, прозванного Ярославский. Доброта сейчас берет в нем верх над ежедневной муштрой. Его лицо расплывается в улыбке, и он радостным голосом произносит одно волшебное слово:

— Каталог!

Это был предметный урок на тему о том, как никогда нельзя терять надежду. Мы уже давно пришли к выводу, что библиотека будет «инвентаризироваться» все десять лет, но вот... Да, это был каталог. И неплохой. Богатая библиотека, прекрасный выбор книг.

Это был конец одиночества. Завтра в это время ко мне придут Толстой и Блок, Стендаль и Бальзак. А я думала о смерти, глупая!

Торопясь и ошибаясь, выписываем номера желаемых книг. Завтра нам принесут их по две на каждую. Вот счастье-то, что я не одна больше! Одной дали бы только две книги, а так — четыре. Это уже паек, на котором можно существовать.

Должно быть, мы так и светимся счастьем, потому что Ярославский окончательно на выдерживает. Воровато оглядываясь на обе стороны, он обнажает в широкой улыбке неровные, но очень белые зубы и ободряюще кивает головой:

— Завтра...

И это завтра наступило. Я держу в руках четыре книги и изнываю от жадности, не в силах решить, какую из них мне менее жалко отдать сейчас Юле. Она добродушно предоставила мне выбор. С чего же начну? «Воскресение»! Конечно, с него! Юльке,

поразмыслив, отдаю «Избранное» Некрасова. Она сразу начинает издавать изумленные восклицания:

— Всю жизнь считала, что декабристки — непревзойденные страдалицы. А между прочим: «покоен, прочен и легок на диво слаженный возок»... Попробовали бы они в столыпинском вагоне...

Но разговаривать уже некогда. Надо читать. И я вгрызаюсь в затрепанный толстовский томик.

В семье меня всегда считали страстной и неуемной пожирательницей книг. Но по-настоящему раскрылся передо мной внутренний смысл читаемого только здесь, в этом каменном гробу.

Все, что я читала до этой камеры, было, оказывается, скольжением по поверхности, развитием души вширь, но не вглубь. И после выхода из тюрьмы я опять уже не умела больше читать так, как читала в Ярославской одиночной. Именно там я заново открыла для себя Достоевского, Тютчева, Пастернака и многих других.

Там же я элементарно изучила впервые историю философии, добросовестно проработав несколько томов. Как ни парадоксально, но в тюремной библиотеке можно было свободно получать многие книги, давно изъятые из обычных библиотек.

Нет ничего проще, чем объяснить глубокое воздействие книги на одиночника отсутствием внешних впечатлений. Нет, не только это. У человека, изолированного от повседневности, от «жизни мышьей беготни», создается какая-то душевная просветленность. Ведь сидя в одиночке, ты не гонишься за фантомом жизненных успехов, не лицемеришь, не дипломатничаешь, не идешь на компромиссы с совестью. Ты вся углублена в высокие проблемы человеческого бытия и подходишь к ним очищенная страданием.

И если даже лагерь, с его звериной обнаженной борьбой за существование, сохранил чистыми тысячи душ наших товарищей, то что говорить об одиночной тюрьме. Ее облагораживающее действие несомненно. Конечно, если она длится не особенно долго, если она еще не успевает разрушить основы личности.

Сколько раз в лагере я с нежностью вспоминала свою страшную ярославскую одиночку! Потому что, хоть существование мое в ней было мучительно, но никогда и нигде, ни раньше, ни позднее не раскрывались так лучшие стороны моей личности, как там. Определенно, в течение этих двух лет я была куда добрее, умнее и тоньше, чем во всей моей остальной жизни.

Даже ежедневное ухудшение режима в тюрьме не могло погасить радостного возбуждения, вызванного открытием библиотеки. Только бы не закрыли опять. И мы стоически выдержали такую акцию, как переодевание в тюремную форму, в так называемые «ежовские костюмчики».

Все наши собственные вещи, находившиеся в камере, у нас отобрали, и нам выдали серовато-бурые сатиновые юбки и кофты, с коричневыми продольными и поперечными полосами,

сделанными в стиле бубнового туза, негнущиеся, украшенные такими же полосами бушлаты. Только шапок у них не хватило, и у меня остался цветистый платочек нашей няни Фимы. Ботинок казенных тоже не хватало, и я продолжала ходить в домашних стоптанных красных тапочках. Эти тапочки и платок были теперь единственными светлыми пятнышками среди всего окружавшего нас.

— Отходили в дамском... — издевательски бросил корпусной, по прозвищу Сатрапюк, уминая в мешки наши хорошие домашние пальто.

В первые минуты мы отнеслись к этой процедуре трагически. Как никак, а превратиться в чучело — это чего-нибудь да стоит для тридцатилетней женщины, даже если ее никто не видит. Но потом отвлеклись задачей — как сохранить бюстгальтеры, хоть по одному. В казенное бельевое обмундирование входили только грубые бязевые рубашки и штаны. Лифчиков не полагалось. А ходить распустехой было страшно оскорбительно.

Каждая из нас с цирковой ловкостью спрятала по одному бюстгальтеру и пронесла его через бесчисленные обыски, проводившиеся в этой тюрьме дважды каждый месяц. Бюстгальтеры эти мы стирали над парашей и штопали рыбьей костью, вынутой из вечерней похлебки. Их надо бы сохранить как воспоминание о несокрушимости «эвиг вайблихе». Мой потерялся потом в лагере во время бесчисленных этапов.

Через неделю после первой выдачи книг у нас обеих разболелись глаза. Ведь днем в камере было почти темно: северная сторона, высоченный деревянный щит без трещин и черный бордюр из огромных ворон на нем. Стало ясно, что если продолжать читать по восемь-девять часов ежедневно при таком освещении, то можно ослепнуть. Надо было как-то приспособляться. И мы приспособились.

Хотя начальство тюрьмы заботливо меняло наших коридорных надзирателей, чтобы мы не привыкали к ним и чтобы между нами не завязывалось человеческих отношений, но все-таки время от времени те же дежурные возвращались на наш этаж, и нам удалось разобраться в них. Каждый имел свое прозвище и свою оценку.

В те дни, когда по коридору вышагивал Сатрапюк или неслышными шажками подкрадывался к глазку Вурм, — отвратительный узкогубый прыщавый тип, — мы соблюдали режим идеально. Но когда появлялся Ярославский, или Святой Георгий, или миловидная кругленькая Пышка, — мы меняли порядок суток.

Научившись спать сидя, мы садились вполоборота к глазку в таких позах, что нас можно было принять за читающих. Раскрытые книги лежали перед нами, но мы безмятежно спали сидя.

Зато ночью, когда ослепительная электрическая лампа заливала камеру светом, мы научились так класть книгу под одеяло, что можно было незаметно читать чуть ли не до рассвета. Конечно,

глаза при этом тоже страдали от ненормальной позы, от недосыпания. Но все-таки это было каким-то выходом. Нам долго удавалось так дурачить дежурных. Лишь изредка открывалась дверная форточка и раздавался голос надзирателя:

— Первое место, скажите второму месту, чтобы ОНО не закрывалось с головой.

Это означало, что ОНО, то есть Юлька, слишком натянула над собой одеяло.

Так и текли эти черные сонные дни и светлые ночи, с мучительно слепящим светом лампы, с подпольным чтением. Так и шло время в физических и душевных муках, в просветленном общении с книгами, в смене надежд и отчаяния.

Небо над прогулочными камерами становилось все серее. Чайки стали залетать реже. Вороны на оконном щите усаживались более плотно. Наступила осень.

Глава тридцать шестая

«СОБАКА ГЛАНА»

У гамсуновского капитана Глана была собака по кличке Эзоп. Хотя вся наша камерная жизнь была насквозь пронизана духом Эзопа, но Юлька, явно переоценивая образованность надзирателей, боялась произносить вслух это имя.

Зато мы часто употребляли загадочное выражение «собака Глана». И мы проявили подлинную виртуозность в овладении языком и приемами этой собачки. Особенно искусно велась переписка.

Я получила разрешение на переписку с мамой. Юле в этом праве было отказано, ввиду «отсутствия близких родственников». Отправка моего письма — а разрешалась она дважды в месяц — превращалась в волнующее событие, к которому мы готовились заранее, обдумывая каждое слово.

Задача была трудная: сделать письмо вполне понятным для мамы и в то же время не возбудить подозрений тюремного цензора, который бдительно стоял на страже и при малейшем намеке на что-нибудь двусмысленное возвращал письмо.

— Отослано не будет! — так объявили мне, когда я вполне всерьез попросила маму привить Васе оспу. Каждое упоминание болезней считалось шифром.

Писали мы карандашами «установленной формы» из пластмассы со вставными графитиками, чтобы не надо было точить карандаш. Ничто острое в руки нам не давалось. В конверты письма вкладывались уже в цензуре.

Надо было сообщить маме как можно больше о себе и узнать от нее все, что можно, о муже, о детях, о всех родных и друзьях. Как сделать это?

И вот мы придумали писать о себе в третьем лице. Была проведена длительная подготовка. Прежде всего надо было придумать для меня второе имя. Что можно придумать от Евгении, кроме Жени? Ага! Ева! Малютка Евочка, сестренка Наташи. И маме было послано письмо с такой загадочной фразой:

«...Не тревожься так много о детях. Я думаю, что нашей Евочке, которая тебя заботит, не так уж плохо. Ведь она теперь не одна, а с тетей, которая относится к ней, я уверена, неплохо».

Моя мама подхватила все на лету. Да, она старается думать, что все будет хорошо с нашей дорогой Евочкой. Вот только не слишком ли замкнутый характер у тети? Пускает ли она Евочку погулять, повидаться с подругами? Мама хотела узнать, какой режим в тюрьме, одиночный ли.

Дальше все пошло как по маслу. Превратив всех в детишек, мы сообщали друг другу самые недопустимые с точки зрения цензора сведения, не вызывая у него ни малейших подозрений. Так мама сообщила, что у «Павлика еще не было экзаменов», из чего я поняла, что суда и приговора по делу мужа еще не было. В той же форме было сообщено об аресте мужа сестры — Шуры Королева. Сначала мама написала: «Шура переменил службу. Он сейчас работает в гараже». Если принять во внимание, что Шура был профессором русской истории, то подобная перемена «службы» могла означать только исключение из партии. А в следующем письме говорилось: «Шура уехал к Павлику». Это уже не вызывало никаких сомнений.

Так мы переписывались два года. Мама аккуратно сообщала новости о моих детях, и я верила ей. Эти благополучные известия дали мне силу перенести все.

Только много позднее, уже на Колыме, я узнала, что в то время, когда мама писала: «Васе под Новый год сделали елочку», на самом деле Вася был потерян в недрах детдомов для детей заключенных, где перепутали его фамилию. Были такие месяцы, когда наши родные уже отчаивались найти ребенка. И только в 1938 году его дядя по отцу разыскал его в Костроме. Хорошо, что я не знала этого в Ярославле.

Кроме переписки «собака Глана» широко применялась и в наших записях и в разговорах. Мы имели право покупать две тетради в месяц через ларек и писать в них все, что хотели. Но так как тетради после их заполнения надо было сдавать в цензуру, то фактически использовать тетрадь так, как хотелось бы, скажем, для стихов, было невозможно.

Сейчас я начисто забыла любопытную стенографию, изобретенную нами тогда. Действительно, оказалось, что, попав в положение Робинзона, каждый индивид повторяет развитие вида, проходя через все стадии «технического прогресса».

Мы изобрели иглу из рыбьей кости и нитки из собственных волос. Придумали оригинальную систему стенографии и усовершенствовали до ювелирной тонкости технику перестукивания,

которое здесь, в могильной тиши, было занятием куда более опасным, чем в казанском подвале.

Стихи я записывала по этой системе, потом заучивала наизусть, стирала записанное хлебным мякишем, а по стертому сверху писала решения алгебраических задач или спряжение французских глаголов.

Основная задача, стоявшая перед нашей «собакой Глана», то есть перед всей нашей подпольной жизнью в камере, состояла в разрушении, насколько возможно, той строгой изоляции от мира и друг от друга, которая была законом этой тюрьмы. По замыслу администрации, каждый из нас должен был считать себя как бы единственным узником этого дома. Ну, поскольку пришлось уплотнить камеры и сделать их двойными, то разрешалось предположить, что кроме меня на свете осталась еще Юля Карепова.

Прежде всего — кто соседи? Путем тончайших наблюдений за характером звуков и неясных шорохов мы установили, что по обеим сторонам от нас — одиночники, что в тех камерах еще нет «приставной койки». Видимо, наиболее «крупных» старались как можно дольше выдержать в одиночестве. Справа кто-то ходил и ходил. Скрип огромных казенных бутс проникал даже через метровую стену. В ответ на наш вопрос о фамилии и сроке нам был поставлен контрвопрос: «Какой вы партии?» И когда мы ответили — «коммунистки», нам простучали в ответ:

— Среди членов этой партии у меня нет друзей.

Потом раздался удар кулаком в стену, и стена замолчала на все два года.

Было ясно, что там меньшевичка или эсерка типа казанской Мухиной.

Зато с соседкой слева установилась регулярная стенная связь. Мы почти ежедневно обменивались шифрованными телеграммами, составленными так, чтобы содержание их не могло быть понято, даже если бы и обнаружили перестукивание.

Соседкой оказалась Ольга Орловская, журналистка из Куйбышева, жена некоего Ленцнера, сыгравшего видную роль в троцкистской оппозиции. Сама Ольга была преданнейшим членом партии, с Ленцнером уже много лет была в разводе, но все же была арестована за связь с ним.

Ольга уже много месяцев сидела одна и была бесконечно рада установившейся связи с нами. Стучали мы во время раздачи обеда или ужина, когда тишина нарушалась звяканьем черпаков и жестяных мисок. Главной темой наших бесед было обсуждение газетного материала. Мы имели право из собственных 50 рублей, присылаемых родными, выписывать местную газету «Северный рабочий».

Что это была за газета! Если бы ее взял в руки сегодняшний читатель, ему показалось бы, что он бредит. Процесс изъятия «врагов народа» обобщался, систематизировался чуть ли не в

схемах и таблицах. Можно было, например, встретить корреспонденцию о нерадивом секретаре райкома, утверждающем, будто в его районе уже «некого брать». Автор корреспонденции негодовал по поводу такого примиренчества к «враждебным элементам» и ставил под сомнение собственную благонадежность секретаря. По нескольку раз в месяц давались развернутые полосы о судебных процессах районных руководителей. Столбцы немудрящей провинциальной газетки пестрели словами «высшая мера», «приговор приведен в исполнение». Они набирались жирным шрифтом.

Наряду с такими материалами шли патетические восхваления «верных сынов народа» и «простых советских людей». Приближались выборы в Верховный Совет, первые выборы на основе новой Конституции, и кандидатом Ярославля выступал первый секретарь Ярославского обкома Зимин, только что сменивший своего арестованного предшественника. В каждом номере давались фотографии Зимина в разных видах, перечислялись его заслуги.

Через несколько месяцев после выборов Зимин был арестован вместе со всем новым составом бюро обкома, и та же газета «Северный рабочий» посвящала полосы разоблачению «матерого шпиона Зимина, обманным путем пробравшегося на руководящую партийную работу».

Выражения «слой», «снимают слоями» приходило в голову еще до того, как Каганович употребил его в положительном смысле. Сказал примерно так: «Борясь с последствиями вредительства, мы сняли несколько слоев . . .»

Вот обо всем этом и толковали мы с Ольгой через стенку, изъясняясь на языке «собаки Глана». Реплики Ольги свидетельствовали об остром уме, о журналистском умении быстро находить точные формулировки.

Так мы общались с Ольгой два года. И только в 1939 году, уже в колымском этапе, выяснилось, что Ольга боготворит Сталина, несмотря ни на что, и что в этой самой ярославской одиночке она написала ему заявление в стихах, которое начиналось так: «Сталин, солнце мое золотое, если б даже ждала меня смерть, я хочу лепестком на дороге, на дороге страны умереть . . .»

Поражаться этому, впрочем, не приходилось, так как в лагере оказалось немало людей, странно сочетавших здравую оценку всего происходящего в стране с чисто религиозным культом Сталина.

Юля, склонная к детективу, увлекалась «собакой Глана» настолько чрезмерно, что иногда даже я не могла понять ее сложных намеков. Особенно осторожной она стала после того, как у Ольги случилось несчастье, о котором та сообщила нам через стенку. Ее лишили книг за какие-то «подчеркивания в тексте», которых она не делала. Теперь, прежде чем вернуть надзирателю книгу, мы проводили над ней гигантскую работу, скрупулезно исследуя каждую страницу.

Еще больше «заэзопилась» Юля, когда ей пришла в голову идея, что в углублении стены, которое было над ее койкой, вставлен магнитофон, фиксирующий все наши разговоры. Напрасно я доказывала ей, что такая мера вряд ли нужна с точки зрения наших тюремщиков. Ведь мы уже не следственные, ничего нового дать им не можем. А то, что мы сами «враги народа» — это они считают уже доказанным.

Юля продолжала отчаянно бояться «Прова Степаныча» (так именовалось это углубление в стене) и находила такие анекдотические формы засекречивания наших разговоров, что я иногда от души хохотала над ней, уткнувшись в соломенную подушку, чтобы не привлекать внимания надзирателей.

И все-таки, несмотря на все наши старания и предосторожности, карающая десница тюремного начальства добралась и до нас. Ведь тюремные взыскания, так же как и самые сроки, раздавались не в зависимости от стихийных проступков, а строго по плану, на основе четкого графика. А график подходил к роковой дате третьей годовщины убийства Кирова, к первому декабря.

Глава тридцать седьмая

ПОДЗЕМНЫЙ КАРЦЕР

Как всегда, несчастье разразилось именно в тот момент, когда мы его совсем не ждали. Наоборот, мы почему-то очень веселились в этот день.

С утра нам принесли из ларька продукты: полкило сахара, двести граммов масла и почему-то несколько огурцов, неизвестно каким путем попавших в тюремный ларек. Огурцы были желтые, корявые и страшно горькие. Хозяйственная Юля, выросшая в столичном городе Царевококшайске, пронесшая через все свои чины и ордена пристрастие к патриархальному хозяйству, загорелась гениальным планом засолки этих трех огурцов.

— Ничего смешного! Попросим по щепотке соли и у дневного, и у ночного дежурного. И у завтрашнего утреннего. Кипятка три дня не брать. Или брать, но выливать в парашу. И в жбане для кипятка посолить. Через три дня будут чудные, малосольные...

— Юлька! Тебя надо в стихах воспевать, честное слово!

— И не мешало бы! А то пишешь неизвестно о чем, а нет чтобы воспеть подругу дней твоих суровых...

Я тут же приступила к делу.

Нет, мне тебя не воспеть ни хореем, ни ямбом презренным,
Только гекзаметр один будет достоин тебя...

— Пожалуйста, не возражаю!

Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий,
Ты на вершине его все ж посолишь огурцы...

И именно в тот момент, когда мы захлебывались сдерживаемым смехом, ключ в нашей двери вдруг повернулся. Сердце сжалось, свернулось клубком. Каждое открытие дверей в неурочное время несло только горе.

— Следуйте за мной, — сказал корпусной, обращаясь ко мне.

Такие случаи уже бывали несколько раз за время нашего пребывания здесь. Водили «печатать пальцы», то есть брать дактилоскопические оттиски, водили к зубному. Нет, к зубному по предварительной заявке... Что же это такое?

Спускаясь с лестницы, слышу тревожное покашливание Юли, несущееся вслед, выражающее тревогу и солидарность. Вот мы миновали второй этаж, первый. Куда же это? Все ниже и ниже? Уже ясно, что ведут не для пустой формальности. В длительном спуске ощущается что-то зловещее. Сколько же здесь подземных этажей?

Наконец мы останавливаемся в каком-то узеньком застенке. Передо мной вырастает кургузая плечистая фигура старшего надзирателя Сатрапюка. У него очень темное смуглое лицо, на котором почти неправдоподобно выглядят белесые глаза. Говорит он с сильным украинским акцентом.

Осведомившись о моей «хфамилии», он вытаскивает книгу приказов и читает мне приказ начальника тюрьмы о водворении в нижний карцер сроком на пять суток «за продолжение контрреволюционной работы в тюрьме, выразившейся в написании своего ИМЯ на стене уборной».

Провокация явная! Никакого ИМЯ я, конечно, не писала, да и глупо было бы писать. Ведь мы отлично знали, что после каждого нашего выхода оттуда надзиратель, несущий почетную вахту у дверей этого учреждения, обязан заходить туда и проверять, не оставили ли мы там бомбу с динамитом. Кроме того, в его обязанности входила выдача каждой из нас по листочку газетной бумаги, и он осуществлял это дело государственной важности с лицом значительным и непроницаемым.

Все это проносится в моей голове, и я пытаюсь объяснить Сатрапюку: надо быть совсем глупой, чтобы в этих условиях писать что-нибудь на стене. Он, не слушая, предлагает мне расписаться в том, что приказ мне объявлен.

— Нет! Не буду подписывать эту ложь, эту чепуху! И потом, что это еще за «продолжение контрреволюционной работы в тюрьме»?

Как только я произнесла эти слова вслух, мне стало ясно, для чего они написаны. Перед глазами сразу возникли строчки из 22 заповедей майора Вайнштока. Там говорилось, что в случае «продолжения контрреволюционной работы в тюрьме» дело передается в суд. Значит, подписав этот приказ, я как бы признáю

факт и даю материал против себя, чтобы меня снова судили и на этот раз уж обязательно убили.

— Не подпишу! Это провокация!

— Ладно. Нэ пышить. Еще поченейше соби зробыти. Давайте роздягайтеся!

— Что-о?

— Роздягайся, говорю! — переходит он вдруг на «ты». — У карцере другой одяг, по положению... Заходь давай!

Он наступает на меня, и я оказываюсь в каком-то каменном треугольнике. Ни окна, ни лампочки. Свет падает только из открытой пока двери. Веет могильным холодом. Ясно, что застенок этот не отопляется. На высоте двух-трех вершков от пола прибиты узкие нары, заменяющие койку. На них валяются лохмотья, в которые мне надлежит сейчас переодеться. Это грязный, засаленный обрывок солдатской шинели и огромные лапти. Самые настоящие лапти...

— Не буду...

— Будешь! А то вам еще и не такие местечки покажем, — сатанеет вдруг Сатрапюк, и прежде чем я успеваю опомниться, он САМ начинает раздевать меня. Я чувствую, как его лапищи коснулись моей груди.

— А-а-а!

Неужели это я издала такой дикий вопль? Да, это я. Я сорвалась с петель. Чаша переполнилась. Кричу и бьюсь еще отчаянней, чем в «черном вороне» после суда. Тогда я билась головой о стенку, стараясь причинить боль только себе. Сейчас я обезумела настолько, что вступаю в драку с Сатрапюком, который может меня уложить одним ударом кулака. Я пускаю в ход ногти и зубы, я ударяю его ногой в живот. При этом я выкрикиваю страшные слова:

— Фашисты! Негодяи! Погодите, и на вас придет день!

Вдруг я ощущаю мгновенную, но такую невыносимую боль, что на какое-то время теряю сознание. Это Сатрапюк вывернул мне руки и связал их сзади полотенцем. Как сквозь сон вижу, что на помощь к нему подоспела женщина-надзирательница. Она раздевает меня, связанную, до рубашки, вытаскивает даже шпильки из волос. Потом все сливается, и я проваливаюсь в черную и в то же время огненную бездну.

Прихожу в себя от мороза. Пальцы на левой ноге закоченели настолько, что я не ощущаю их. У меня тогда получилось отморожение второй степени всех пальцев левой ноги. И до сих пор каждую зиму нога распухает и болит.

Все тело мучительно ноет. Я лежу на этих низких нарах, прямо на спине, почти голая, в одной рубашке и накинутой сверху грязной шинелишке. Но руки у меня свободны, не связаны. Это надзирательница, наверно, пожалела, развязала, перед тем как бросить сюда.

Всматриваюсь в темноту. Ни зги. Только бы я не ослепла... Ведь ничего, ничего не вижу. Хоть бы искорку какую-нибудь...

Шаги. Стук солдатских каблуков. Поворот ключа в дверной форточке и... Нет, я не ослепла! Какой ликующий поток света струится из дверного окошечка! Я вижу, вижу его! Теперь легче будет смотреть в тьму. Ведь я теперь знаю, что не ослепла.

— Вода!

Кружка грязная, заржавленная, вода подернута каким-то сальным налетом. Я жадно хватаю ее, выпиваю два глотка, а остальной водой умываюсь. Экономно, аккуратно отмываю руки и лицо, потом вытираюсь верхним краем рубашки. Вот. Теперь я снова человек, а не грязное затравленное животное.

— Хлеб!

— Не буду!

— Почему?

— В такой грязи есть нельзя.

— Доложу начальнику.

Он уходит, но закрывает дверную форточку как-то не так плотно, как было раньше. Теперь по краю ее ясно улавливается узенькая полоска электрического света. Я фиксирую ее взглядом, и это приносит мне бесконечное утешение.

Надо отмечать дни. Чтобы не слились в одно дни и ночи. Сейчас мне хотели дать хлеб. Это был первый день. Я надрываю в одном месте подол рубашки. Каждый раз, когда мне будут предлагать хлеб, я буду делать на рубашке такой надрыв. Когда их будет пять, меня отсюда выпустят. Каким дворцом мне кажется сейчас наша камера! Юлька... Неужели и с ней расправились так же? У нее и так плеврит...

Спать здесь невозможно. Мешают холод и крысы. Они шмыгают мимо меня, и я бью их огромным лаптем. Что же делать? Ах, стихи...

Я читаю себе Пушкина и Блока, Некрасова и Тютчева. Потом сочиняю (акын настоящий, совсем без карандаша!) стихи «Карцер».

Не режиссерские бредни.
Не грезы Эдгара По.
Слышу, как в шаге последнем
Замер солдатский сапог.
В пьяном шакальем азарте
Как они злы, как низки...
Вот он — подземный карцер!
Камень. Мороз. Ни зги!
Вряд ли сам ад окаянней —
Пить, так уж, видно, до дна...
Счастье, что в этих скитаньях
Все-таки я не одна.
Камень взамен подушки,
Но про ночной Гурзуф
Мне напевает Пушкин,
Где-то в углу прикорнув.

И для солдат незримо
Вдруг перешел порог
Рыцарь неповторимый,
Друг — Александр Блок.
Если немного устану —
В склепе несладко живьем —
Вспомним про песнь Гаэтана,
Радость-страданье споем.
Вместе не так безнадежно
Самое гиблое дно.
Сердцу закон непреложный:
Радость-страданье — одно.
Пусть же беснуется, воя,
Вся вурдалачья рать!
Есть у меня вот такое,
Что вы не в силах отнять!

Да, этого они отнять не в силах. Все отняли: платье, туфли, гребенку, чулки... Бросили на мороз почти голую. А вот этого не отнимут. Не в их власти. Мое со мной. И я переживу даже этот карцер.

Глава тридцать восьмая

КОММУНИСТО ИТАЛЬЯНО...

На подоле моей рубашки уже четыре надрыва. Уже четырежды мне предлагали хлеб, и четырежды я не приняла его. Я уже немного сориентировалась и здесь. Различаю звуки, связанные со сдачей дежурства надзирателей, шаги Сатрапюка и его шепот с придыханием. Поняла, что в этом секторе подвала не меньше пяти таких клеток, как моя.

Поэтому шаги Коршунидзе-Гадиашвили — начальника тюрьмы — я сразу различила. Открылась моя дверь. Я повернулась на своем ложе к стене, чтобы не видеть его. Угадываю его верблюжью, ныряющую походку и презрительную гримасу на его физиономии. Секунду мы оба ждем. Он — чтобы я проявила чем-нибудь, что жива, я — чтобы заорал: «Встать!» Но он начинает свою речь с эпическим спокойствием:

— Вам известно, что в нашей тюрьме голодовки запрещены?

Молчу. Я не хотела разговаривать с этим выродком даже там, в камере. Тем более не скажу ни слова здесь.

— Повторяю: известно ли вам, что в нашей тюрьме голодовка расценивается как продолжение контрреволюционной работы?

Кусаю губы в кровь и молчу.

— Вы не подписали приказа и не принимаете хлеба. Это достаточные основания для передачи дела о вашем поведении в тюрьме в суд. Отдаете ли вы себе в этом отчет?

Хоть лопни, проклятый, хоть пристрели сейчас на месте, не вымолвлю ни слова. Что терять-то? Разве в могиле не лучше, чем здесь?

Коршунидзе выжидает еще минуту, потом поворачивается на каблуках своих сапог (по его ежемесячным визитам знаю, как они блестят!) и выходит из карцера. Двери снова заперты.

Но вот открывается дверная форточка, и я вижу знакомое добродушное лицо Ярославского, колючую поросячью щетинку на его розовых щеках.

— Бери, девка, хлеб-то, слышь! А то и впрямь замордуют вовсе, — торопливым шепотом произносит он и сразу же, прерывая самого себя, захлопывает форточку. Кто-то в коридоре...

Топот многих ног, какое-то шуршанье, будто протащили что-то по каменному полу, глухие возгласы. И вдруг над всем этим отчаянный дискантовый крик. Он долго тянется на одной ноте и наконец неожиданно обрывается.

Все понятно. Кто-то сопротивляется. А его все-таки тащат в карцер. Опять кричит. Замолчала. Заткнули рот кляпом.

Только бы не сойти с ума. Все что угодно, только не это. «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума...» А ведь первый признак надвигающегося безумия — это, наверно, именно желание вот так завыть на одной ноте. Это надо преодолеть. Работой мозга. Когда мозг занят делом, он сохраняет равновесие. И я снова читаю наизусть и сочиняю сама стихи. Потом повторяю их много раз, чтобы не забыть. А главным образом, чтобы не слышать, не слышать этого крика.

Но он все продолжается. Пронизывающий, утробный, почти неправдоподобный. Он заполняет все вокруг, делается осязаемым, скользким. По сравнению с ним вопли роженицы кажутся оптимистической мелодией. Ведь в криках роженицы затаена надежда на счастливый исход. А тут великое отчаяние.

Меня охватывает такой страх, какого я еще не испытывала с самого начала моих странствий по этой преисподней. Мне кажется — еще секунда, и я начну так же вопить, как эта неизвестная соседка по карцеру. А тогда уж обязательно соскользнешь в безумие.

Но вот однотонный вой начинает перемежаться какими-то выкриками. Слов разобрать не могу. Встаю со своего ложа и, волоча за собой огромные лапти, подползаю к двери, прикладываю к ней ухо. Надо разобрать, что кричит эта несчастная.

— Ты что? Упала, что ль? — раздается из коридора. Ярославский снова приоткрывает на минуту дверную форточку. Вместе с полоской света в мое подземелье вливаются довольно ясно произнесенные слова на каком-то иностранном языке. Уж не Каролла ли это? Нет, на немецкий не похоже.

У Ярославского расстроенное лицо. Ох, какая это все постылая обуза для мужицкого сына с поросячьей белобрысой щетинкой

на щеках! Уверена, что если бы он не боялся проклятого Сатрапюка, помог бы и мне, и той, кричащей.

В данный момент Сатрапюка, видно, нет поблизости, потому что Ярославский не торопится захлопывать форточку. Он придерживает ее рукой и шепотом бубнит:

— Завтра срок тебе. Назад в камеру пойдешь. Перетерпи уж ночку-то. А может, возьмешь хлеб-то, а?

Мне хочется поблагодарить его и за эти слова и, особенно, за выражение его лица, но я боюсь спугнуть его какой-нибудь недопустимой фамильярностью. Но все-таки решаюсь прошептать:

— Чего она так? Страшно слушать...

Ярославский машет рукой.

— Кишка у них больно тонка, у заграничных-то этих! Вовсе никакого терпенья нет. Ведь только-только посадили, а как разоряется. Наши-то, русские, небось все молчком. Ты-то вон пяты сутки досиживаешь, а молчишь ведь...

И в этот момент я ясно различаю доносящиеся откуда-то вместе с протяжным воем слова «коммунисто итальяно», «коммунисто итальяно...».

Так вот кто она! Итальянская коммунистка. Наверно, бежала с родины, от Муссолини, так же как бежала от Гитлера Клара, одна из моих бутырских соседок.

Ярославский торопливо захлопывает дверку и строго кашляет. Наверно, Сатрапюк на горизонте. Нет, много шагов. Хлопанье железных дверей. Это там, у итальянки... Какой странный звук! Ж-ж-ж-ж... Что это напоминает? Почему я вспомнила вдруг о цветочных клумбах? Боже мой! Да ведь это шланг! Значит, это не было фантазией Веверса, когда он грозил мне: «А вот польем вас из шланга ледяной водицей да запрем в карцер...»

Вопли становятся короткими. Она захлебывается. Совсем жалкий комариный писк. Опять шланг. Удары. Хлопанье железной двери. Молчание.

По моим расчетам, это была ночь на пятое декабря. День Конституции. Не помню, как я провела остаток этой ночи. Но тонкий голос итальянки я и сегодня слышу во всей реальности, когда пишу об этом спустя почти четверть века.

Ярославский сменился. Дверь настежь. Еще прежде, чем я различаю, кто стоит в дверях, я с беспощадной ясностью вижу вдруг самое себя, скорчившуюся на этих грязных обледенелых досках, прикрытую грязной хламидой, растрепанную. Вижу свои посиневшие отмороженные ноги в огромных лаптях. Затравленный зверь. Да разве еще можно жить после такого?

Оказывается, можно. В дверях стоит надзирательница Пышка. На ее щеках и подбородке ямочки. Веселые кудряшки падают на тюремную форму. От нее одуряюще пахнет земляничным мылом и тройным одеколоном. Она что-то говорит добрым голосом. Сначала я воспринимаю ее речь только как мелодию.

Человеческий голос. Приятный, доброжелательный. Разве это еще мыслимо? Потом начинаю различать смысл слов.

— Сейчас в камеру пойдете. Скоро ужин... А завтра в душе помоетесь.

— Как ужин? Я думала, утро...

Она помогает мне снять хламиду и надеть серо-синюю ежовскую форму. Форма кажется мне сейчас удобным и красивым платьем. Сразу делается теплее; дрожь, не унимавшаяся все пять суток, прекращается. Я пытаюсь натянуть чулки, но это мне почему-то не удается. Чулки кажутся странно длинными и потом, я никак не могу сообразить, с какой стороны их натягивают. Пышка опять услужливо помогает мне.

— Идите...

Выхожу на площадку, на которую выходят двери нескольких карцеров. Около каждой стоит обувь. Всем, значит, надевают в карцере лапти. У администрации не хватает казенных бутс, и потому у дверей стоят потрепанные туфли, тапочки. Домашняя обувь. Но что это? Я вижу изумительно изящные, маленькие, не больше 33-го номера, модельные туфельки на высоких каблучках. Она! Это, без сомнения, ЕЕ туфельки! Передо мной вырастает образ грациозной маленькой итальянки, которой могут быть впору такие туфельки. А они... Из шланга...

Меня уже вывели наверх, на ту лестничную клетку, которую я ежедневно прохожу, спускаясь на прогулку во дворик. И вдруг я останавливаюсь в мучительном сомнении. Направо или налево? Делается страшно... Значит, я все-таки тронулась. Ведь каждый день хожу здесь, каждый день... Три с половиной месяца... Почему же я вдруг забыла дорогу?

— Направо, — говорит шепотом Пышка, и я пытаюсь повернуть направо, но вдруг окончательно теряю ориентацию и тихо опускаюсь на ступеньки. Нет, я, значит, все-таки не железная...

Последнее, что стучит у меня в висках, когда я падаю, ныряя в беспамятство, это все тот же пронзительный крик:

— Коммунисто итальяно! Коммунисто итальяно!

Глава тридцать девятая

«НА БУДУЩИЙ — В ЕРУСАЛИМЕ!»

Всему на свете приходит конец. Кончался, кончался все-таки и девятьсот проклятый — тридцать седьмой. Прошел декабрь, начавшийся для нас карцером, болезнями после него. Юлин плеврит резко обострился. Я мучилась отмороженными ногами.

В газетах мы читали сейчас описание первых выборов на основе новой Конституции, нового избирательного закона.

Днем и ночью мучила мысль: неужели наш уход из жизни никем не замечен? Я представляла себе, как идут на выборы наши,

университетские. Неужели никто не вспомнит? А редакция? Впрочем, там, наверно, не осталось никого из старых.

И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естествен, как дыхание. Ведь все, что я имела: и тысячи прочитанных книг, и воспоминания о замечательной юности, и даже вот эта выносливость, которая сейчас спасает меня, — ведь это все мне дано ею, Революцией, в которую я вошла ребенком. Как нам было интересно жить! Как все хорошо начиналось! Что же, что же это такое случилось?

— Юлька! Проснись! А ты не думаешь, что ОН сошел с ума? А? Мания величия ведь часто, говорят, сопровождается и манией преследования... Может, ему и вправду всю ночь мальчики кровавые в глаза лезут.

Юлька нечленораздельно мычит что-то. И зачем только я разбудила ее? Ведь она так плохо чувствует себя после карцера.

Болезнь не мешает ей, впрочем, готовиться к «встрече» приближающегося Нового года. Она копит сахар, откладывая по куску из выдаваемых ежедневно двух пиленых кусочков. Уже вторую неделю она ревниво оберегает граммов 20 масла, оставшихся от 200 граммов, купленных однажды (за три месяца) в тюремном ларьке.

— Новый год надо отметить хорошо. Ведь есть примета: как Новый год встретишь, так он весь и пройдет. И ты обязательно сочини новогодние стихи.

— Подожди ликовать! Еще, может быть, у них день Нового года отмечается не менее торжественно, чем день первого декабря, годовщина убийства Кирова. Может, для этой цели приспособлены еще более усовершенствованные карцеры.

Но Новый год все же приближался, и мы обе ждали его с нетерпением. Суеверно казалось, что кошмары, принесенные тридцать седьмым, могут раствориться в свежем воздухе тридцать восьмого.

Как и перед всякой выдающейся датой, тюремный режим заметно усилился. Чаще обычного щелкал открываемый глазок, чаще раздавался змеиный шепот: «Прекратите разговоры!» Библиотека почему-то снова не работала, и книги, находившиеся у нас уже месяц, были изучены до тонкостей. Помню, что одной из них был все тот же однотомник Некрасова, который Юле не хотелось возвращать.

И опять я думала о том, как раскрывается слово писателя в той ничем не нарушаемой душевной собранности, которая дается тюрьмой, в благоговейной готовности как можно глубже воспринять это слово.

Никогда я не любила людей так проникновенно, как именно в эти месяцы и годы, когда, отгороженная от них каменными стенами, брошенная в царство нечеловеков, я воспринимала каждую писательскую строчку как радиограмму с далекой

планеты Земля, моей родины, моей далекой матери, где жили и живут братья мои — люди.

Даже самая хрестоматийная строчка Некрасова превращалась теперь в волнующее письмо далекого друга. Я часами читала Юльке «Рыцарь на час», «Русских женщин». И интересно, что больше всего стучали в сердце самые неожиданные места, мимо которых проходила раньше не останавливаясь. Например, «спи, кто может, я спать не могу...» Это ведь о природе. О той лунной морозной ночи, когда поэт «хотел бы рыдать на могиле далекой»... Когда-то я заучивала эти стихи в школе, и они сливались для меня тогда с десятками других пейзажных строк, почти не задевая сердца. А сейчас...

Вот она, в прорези открытой форточки, — эта морозная лунная ночь. Какой бы мороз ни был на улице, мы с Юлей не закрываем форточку. Ведь оттуда струится тоненький ручеек кислорода, оттуда поступает наш нищенский паек со стола жизни. Мы ведь не дышим теперь, а только жадно подбираем крохи кислорода. И вот с ним-то вместе, с этим ручейком, и входит к нам в камеру некрасовская морозная ночь. И мне кажется, что никто до нас не понимал всего объема этих слов: «Спи, кто может, я спать не могу...»

Кроме Некрасова в эти предновогодние дни на нашем прикованном к стене столике оказался еще томик стихов Сельвинского. И там случайно попались на глаза строчки о судьбах еврейского народа, о его стойкости, жизнелюбии. Приводилось древнее новогоднее приветствие: «На будущий — в Ерусалиме».

Под этим заголовком я и сочиняю поздравительные новогодние стихи для Юли.

...И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы,
И голос сорвется, слабея:
На будущий — в Ерусалиме!

Тюремные кружки содвинув,
Осушим их, чокнувшись
прежде.
Ты смыслишь что-либо в винах?
Нет слаще вина надежды!

Товарищ мой! Будь веселее!
Питаясь перловкой, не манной,
Мы все ж, как седые евреи,
В свой край верим
обетованный.

Такая уж вот порода!
Замучены, нищи, гонимы,

Все ж скажем в ночь
Нового года:
На будущий — в Ерусалиме!

И вот она пришла, эта новогодняя ночь. Первая новогодняя ночь в тюрьме. Если бы мы знали тогда, что впереди их еще не меньше семнадцати! Вряд ли мы смогли бы, наверно, так терпеливо встретить ее, если бы вдруг на тюремной стене, как на экране телевизора, вспыхнула хоть одна из сцен предстоящей нам в ближайшие семнадцать лет жизни. Но, к счастью, будущее было для нас закрыто, и надежда лгала нам своим детским лепетом. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, мы были уверены, что «на будущий — в Ерусалиме!».

Мы лежим на своих тюремных койках и стараемся уловить движение времени. Это не очень просто. Недаром Вера Фигнер назвала свою книгу об одиночной тюрьме «Когда часы остановились».

Но в эти пограничные, перевальные минуты, когда уходил в глубь веков этот единственный в своем роде год, когда наступал новый (а ему мы приписывали роль справедливого судьи!) — в эти минуты мы стали способны отсчитывать шаги времени по многим неуловимым признакам: по ударам своих сердец, по дыханию надзирателя, заглядывающего в глазок.

Какое-то шестое чувство заставило нас одновременно протянуть руки из-под колючих серых одеял и чокнуться жестяными кружками, в которых была заранее заготовлена сладкая вода.

Нам повезло. Надзиратели не заметили наших незаконных действий, и мы спокойно выпили свой напиток, закусив его куском хлеба, смазанного маслицем. Это было поистине лукуллово пиршество!

Я торжественно прочла Юле поздравительные стихи, и мы сладко заснули в мечтах о Новом годе. На будущий — в Ерусалиме!

Глава сороковая

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

Нет, чуда не произошло. Тридцать восьмой не стал справедливым судьей тридцать седьмого. Наоборот, он оказался двойником своего кровожадного брата и даже кое в чем переще-голял его.

Этот год, проведенный от начала до конца в одиночке, показался ярославским узницам вечностью и в то же время — мигом. Каждый отдельный день тянулся невыносимо, но недели, а особенно месяцы летели галопом.

Пробуждение. Дверная форточка хлябает и открывается, точно пасть какого-то сказочного дракона. Пасть произносит:

— Подъем!

И захлопывается, точно лязгают одна о другую металлические челюсти чудовища. Подъем в шесть утра. Зимой еще совсем темно, и кусочек неба в окне, над щитом, сливается с краями щита.

Подъем. Это значит еще раз осознать, где ты находишься, отдать себе отчет в том, что все ЭТО — правда, не сон. Все на месте: багровые стены, скрежещущие железные койки, вонючая параша, углубление в стене, от которого расходятся какие-то контуры, напоминающие мужское лицо. Это — «Пров Степаныч» — наш предполагаемый соглядатай, за которым, по Юлиному предположению, скрывается магнитофон.

Быстро вскакиваем. Медлить запрещено. Натягиваем свои форменные платья, ежовские формочки. Дрожа от сырости, от вони, от отвращения к жизни, стараемся подшучивать над своим видом в этих туалетах. Любимая шуточная игра. Я говорю Юле: «Хозяйка, вам куфарку не надоть?» Она строго: «А паспорт у тебя есть?» — «Вот пачпорта-то как раз и нет, хозяйка. Уж не обессудьте, чего нет, того нет...»

Первый раз это рассмешило, и мы повторяем игру, чтобы поддержать бодрость, чтобы скрывать друг от друга утреннее отчаяние.

Иногда между подъемом и выводом на оправку проходит больше часа. Но мы должны быть готовы с самого начала, чтобы, как только откроется наша дверь, схватить парашу и идти в уборную. Время ожидания надо как-то убить. Иногда удается задремать, сидя на прикованной к стене табуретке, иногда, загораживая друг друга от глазка, делаем подпольную физзарядку, то есть разминаем затекшие от жесткой железной койки руки и ноги.

По характеру шорохов в коридоре, по шагам и даже по дыханию мы узнаем, кто из надзирателей в коридоре. От этого многое зависит. При Святом Георгии, например, можно делать гимнастику почти открыто. Он сделает вид, что не замечает. У Пышки можно попросить вне очереди иголку и заняться штопкой чулок. А вот если в коридоре Вурм — держи ухо востро! Попробуй-ка при нем хоть руки поднять кверху! Сейчас же откроет дверную форточку и проквакает жабьим голосом:

— Прекратить! Тут вам не институт физкультуры!

А если Сатрапюк... Ну, тот ничего не скажет, но составит акт о нарушении режима — и готово: лишение прогулки, библиотеки, ларька...

Выход в уборную приносит нам некоторые политические новости и расширяет наш политический кругозор. Кусочки газетной бумаги, выдаваемой нам по листочку вместо туалетной, могут оказаться страшно интересными. Сами мы получаем только ярославскую газету «Северный рабочий». А в уборной нам нередко

попадаются кусочки «Правды» и «Известий». Мы штудируем их со всех концов, делаем из обрывков предложений разные умозаключения.

Вернувшись с оправки, мы умываемся над парашей, поливая друг другу, и завтракаем кипятком и хлебом. Юля оставляет один кусочек сахара на ужин. Я съедаю оба куска утром, каждый раз однообразно аргументируя: «А вдруг умрем до вечера. Пропадет тогда...»

Потом начинается «рабочий день». Мы читаем и пишем. Пишем и читаем. Увы, мы нередко читаем все одни и те же книги, так как библиотека то и дело «ремонтируется» и «инвентаризируется». А пишем мы только для того, чтобы тут же стереть написанное. Ведь две тетради, которые нам разрешено исписывать за месяц, должны каждое тридцатое число сдаваться в тюремную цензуру, притом без возврата. Я пишу стихи. Массу стихов. Пишу, заучиваю наизусть и стираю написанное хлебным мякишем. Кроме того, я пишу повесть о советской школе первых послереволюционных лет, о школе, в которой я училась. Мой единственный критик, читатель и ценитель — Юля — очень одобряет.

После каждой прочитанной главы мы предаемся сладостным воспоминаниям детства. Ведь оно у нас было такое, какого ни у кого ни до нас, ни после нас не было. Революционное детство. Даже плакат с огромной вошью, призывающий к борьбе с тифом, кажется нам теперь овеянным высокой поэзией.

А первое ученическое самоуправление! А первая демонстрация, когда мы шли с мокрыми ногами, в рваных башмаках, но несли сочиненный нами самими лозунг — «Школа труда и радости приветствует Советскую власть!».

Одно плохо: мы недостаточно активно жили. Если бы знать, что всей нашей жизни только и будет, что тридцать лет, так разве так надо было работать! Тогда успели бы хоть что-то после себя оставить. Да и детей надо было родить не двух, а минимум пятерых, чтобы побольше, побольше от меня следа осталось на моей дорогой земле. Ах, как безошибочно стали бы мы жить сейчас, если бы удалось начать все сначала!

Обед. Если мамалыга — кукурузная каша — это хорошо. К овсу и перловой шрапнели я почти не притрагиваюсь. Я стала уже тоньше, чем была в пятнадцать лет.

Прогулка. Распахивается дверь. Зловоние параши смешивается с парфюмерными запахами, струящимися от надзирателя. Их обязательно душат здесь, чтобы компенсировать то зловоние, в котором они работают.

Одетые в фантастические по уродливости бушлаты, мы старательно мечемся по пятнадцатиметровому прогулочному дворику, стараясь исподтишка смотреть на небо. Открыто смотреть запрещено. Голова во время прогулки должна быть опущена.

Потом опять читаем, пишем, решаем задачи по алгебре и подводим итоги своей жизни в бесконечных разговорах.

Ужин. Изо дня в день в один и тот же час коридор наполняется оглушительным запахом вареного рыбьего жира. Меня тошнит не только от вкуса этого супа, но даже от этого запаха. Питаюсь в основном хлебом и кипятком. Юля говорит, что из довольно объемистой брюнетки я превратилась в тоненькую шатенку, потому что от постоянной темноты, в которой мы живем, мои волосы посветлели. Не знаю. Сама я уже второй год не вижу своего отражения в зеркале или хотя бы в стекле, в воде.

Отбой. Снова лязгнула дверная форточка — пасть дракона. Отбой — это хорошо. Это почти счастье. Можно лечь, вытянуться в длину. Можно заснуть лежа, а не скрючившись на табуретке. Это семичасовой отпуск в нирвану, в блаженство небытия. Вместо «спокойной ночи» я говорю Юле из Некрасова: «Уснуть ... А добрый сон пришел, и узник стал царем».

Так шли дни. Но это было обманчивое однообразие. Оно было пронизано постоянным ожиданием новых необычайных происшествий. И они действительно происходили. Временами застоявшуюся тишину коридора прорезывали стуки, стоны, удары, чьи-то задохнувшиеся в прерванном вопле голоса. Ведь не только нас тащили в карцер. Некоторые, наверно, сопротивляются. А может быть, не только карцер ...

Разнообразие в жизнь вносили также обыски и баня. Баня была тоже одиночная. Душ-клетка, в которой мы едва помещались вдвоем, приносила огромное удовольствие. Что же касается обысков, то они требовали с нашей стороны большого напряжения ума, находчивости, быстроты движений.

Казалось бы, что можно найти в камере людей, ничего ниоткуда не получающих, не выходящих никуда, кроме тюремного дворика? И что им прятать, таким людям?

Но нет, нам было что прятать. Лифчики, которые были запрещены, иголки из рыбьих костей, вытащенных из вечернего супа, наконец лекарства, полученные от медсестры, время от времени обходившей камеры. Лекарства, по правилам, полагалось глотать только в присутствии сестры и надзирателя. А нам хотелось иметь кое-что на случай, скажем, приступа малярии, которая нас терзала. И мы делали вид, что глотаем порошки при сестре, а сами прятали порошки хинина и аспирина за лифчиком, чтобы принять их тогда, когда потребуется.

Все эти незаконные вещи мы с акробатической ловкостью спасали при обысках, пользуясь тем, что камеру обыскивали надзиратели-мужчины, а так называемый личный обыск проводили женщины.

Мужчины врывались в камеру как лавина. Неожиданность обыска, видимо, по их инструкциям была особенно важна. Они ворошили соломенные тюфяки и подушки, скрупулезно исследовали каждый миллиметр пола и стен. В это время мы держали все запретные вещи на себе — в чулках или за лифчиками.

Наиболее ответственным был момент, когда мужчины уходили и входили женщины. В этот миг надо было успеть переложить все криминальное под тюфяки, так как женщины вещей уже не трогали. Их задачей было обшарить нас самих, заставляя раскрывать рты, расчесывать волосы, раздвигать пальцы рук и ног и т. д.

...За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского. По-новому мы прочли теперь его ранние тюремные стихи. О бутырской камере и о солнечном зайчике. «А я за стенного, за желтого зайца отдал тогда бы все на свете».

Чего захотел! Солнечного зайца! Нам такие мысли и в голову не приходят. Хоть бы чуточку дневного света. Хоть бы не так ломило переносье и надбровье, когда читаешь в этих вечных сумерках!

Несколько недель мы живем только Маяковским, и я сочиняю ему стихи, стилизованные «под него». Там есть такие строфы:

...Владимир Владимыч! Вы очень умели
Найти основное в любом важном деле...
Вам, думаю, ясно? Нам здесь
не приснится,
Что есть где-то в мире цветочная
Ницца...

Долгими вечерами толкуем о той елейнои трактовке Маяковского, которую мы еще успели застать на воле, которая теперь в моде. И я пишу, а потом стираю хлебным мякишем:

...Маяковский, слушайте, наш милый!
Будем живы, так, не поленясь,
Мы отмоем дочиста и с мылом
Эту рассусаленную грязь.

Вы ж тогда, встряхнувшись торопливо,
Растолкав плечами облака,
Двадцатидвухлетний и красивый,
Снова зашагаете в века...

Глава сорок первая

ГЛОТОК КИСЛОРОДА

Однажды мы с тревогой услышали в неурочный час повторяющиеся ритмические железные звуки. Камеры отпирались и запирались одна за другой. Что-то опять происходило.

Настроение в этот день и без того было беспокойным. Незадолго до этого мы целый месяц сидели без газеты. Нас лишили права выписки за какое-то воображаемое нарушение режима. Кажется, что-то вроде «громкого разговора в камере». Сатрапюк и его присные особой изобретательностью не отличались. Получив после месячного перерыва газету «Северный рабочий», мы сразу натолкнулись на процесс Бухарина — Рыкова. Вот когда только он начался! А в Бутырках думали, что он уже давно прошел...

Опять исступленные речи Вышинского и таинственные «покаяния» подсудимых. Весь день ломаем голову над поведением подсудимых. Неужели так испугались смерти? Ну, пусть сто раз во всем они неправы, но ведь все-таки это крупные политические деятели. Почему они при царизме не были такими трусливыми? Может, они не в себе, как говорится? Но тогда они вели бы себя, как Ван дер Люббе в Лейпциге: сидели бы и тупо молчали, временами вскрикивая «нет, нет!». А эти произносят длинные речи, хорошо стилизованные «под Бухарина» и других. А может, это не они? Загримированные под них актеры? Ведь играет же Геловани Сталина так, что не отличишь.

Кроме того, в эти дни мы были подавлены известием о смерти Крупской. Оно просто потрясло нас. Мы смотрим на маленький снимок, помещенный ярославской газетой, и плачем горькими слезами. Кажется, впервые плачем за все ярославское время. Некролог очень сдержанный, скупой. «Хозяин» ведь не любил ее. Вспоминаем анекдот: «Если вы будете дурить, мы другую женщину сделаем вдовой Ленина».

И опять смотрим в добрые выпуклые глаза, смотрим на учительский воротничок, на гладкие седые пряди волос. Все, все в ее облике родное, близкое, понятное. И мы воспринимаем ее смерть как последний акт трагедии: последние честные, благородные, такие, как Крупская, уходят, умирают, уничтожаются.

И опять те же сверлящие вопросы: остались ли еще на воле такие, как Крупская? Понимают ли они, что творится? Почему молчат?

— Такие, как Постышев, например? Ну почему он не выступит?

Юля знала Постышева лично и считала его идеальным ленинцем. О том, что Постышев разделил судьбу многих, мы тогда еще не знали.

— Ну как он может выступить? И что это даст? Только будет столько-то тысяч жертв плюс еще Постышев. В условиях такого террора... Не потому, что они жалеют себя, а просто нецелесообразно. Пусть хоть такие, как он, сохранятся до лучших времен...

Вот в таком настроении мы и уловили, вдобавок ко всему, эти непонятные ритмические звуки. Ну вот... Дошло до нас...

Корпусной, — не «малолетний Витушишников», употребляемый для разноски писем, вызовов к зубному и других гуманных процедур, — а другой — Борзой, высокий, поджарый и бес-

страстный, входит в камеру с табуреткой в руках. Он подставляет ее к окну. Потом что-то колдует над форточкой и... хлоп! Он запирает ее наглухо большим железным ключом.

Мы ошеломлены. Настолько, что даже задаем ему вопрос, хотя отлично знаем, что в этих стенах на вопросы не отвечают и задавать их бессмысленно:

— Зачем?

Какая глупость с нашей стороны! Как будто неясно зачем! Чтобы скорее умирали без воздуха. Чтобы было еще больше плесени на стенах, чтобы от сырости еще больше крутило суставы.

Это, конечно, в порядке отклика на процесс Бухарина. Система «откликов» нам ведь была известна. Еще Ильф и Петров сочинили для геркулесовцев каучуковую резолюцию, начинавшуюся словами: «В ответ на...» Поверх многоточий вставлялось, скажем, «на происки Антанты» или «на производственную инициативу коммунальников»... Ну, а это «в ответ на процесс правых». Как, однако, напряженно работает чья-то изобретательская мысль!

Корпусной Борзой, запирая нас, роняет сквозь зубы:

— Будет открываться на 10 минут ежедневно.

Вот когда мы познали вкус воздуха! Одного крошечного глотка кислорода. Порядок установлен такой, что форточка открывается во время нашего вывода на прогулку. Но если дежурит Ярославский или Святой Георгий, то они открывают не в момент вывода, а после предупреждения: «Приготовьтесь на прогулку». И благодаря этим хорошим людям, попавшим на такую работу, перепадают лишние пять минуточек. Мы взахлеб ловим крошечные струйки воздуха, идущие от небольшой квадратной форточки, до которой не достает без табуретки даже длиннущий Борзой. Дни и ночи, проведенные в этой камере при постоянно открытой форточке, кажутся нам теперь каким-то курортом.

Через несколько дней нового кислородного режима сырость в нашей камере, выходящей на северную сторону и никогда не видавшей ни одного лученышка, становится просто невыносимой. Хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели. Белье всегда влажное. Все суставы болят, точно в них вгрызается кто-то.

Во сне ко мне теперь то и дело приходит назойливое видение. Как будто я сижу на дачной террасе, на берегу Волги, в Услоне, против Казани. И парусина, которой задрапирована терраса, вздувается, как парус, от порывов свежего волжского ветра. Я дышу полной грудью, но почему-то не чувствую облегчения. Сердце колет.

— Подъем! — лязгает железное чудовище.

Открываю глаза и первым делом вижу закрытую на ключ форточку. Любопытные длинноносые вороны, сидящие на щите, заглядывают в нее, свесив головы набок.

Глава сорок вторая

ПОЖАР В ТЮРЬМЕ

— Что это ты раскашлялась? — спросила меня Юля.

— А ты?

— Ну, у меня-то плеврит...

Я уже давно поняла, что едкая, вызывающая кашель щекотка в горле связана с запахом гари, все более отчетливо проникающим в камеру. Поняла, но молчу. Юлька и так после карцера совсем серая стала, землистая. Что ее зря пугать! Еще может быть случайность. Что-нибудь пригорело на кухне? Впрочем, нет. В этом корпусе кухни, кажется, нет! Еду привозят на тележках откуда-то извне.

Мы кашляем все чаще, но продолжаем читать. Однако и читать становится труднее. Глаза слезятся и застилаются туманом. Потом мы слышим топот многих ног над головой. Бегут по крыше. Шипящие звуки воды, струящейся из шлангов. По коридору тоже бегут. Даже переговариваются громким шепотом.

И наконец — тоненький стук в стенку. Это Оля Орловская, соседка. Она выстукивает то самое слово, которое мы с Юлей не решаемся сказать друг другу.

— По-жар... П-о-ж-а-р...

— Должны вывести, — говорю я, отвечая на молчаливый вопрос, так и прыгающий из округлившихся Юлькиных глаз. — Удушение заключенных в камерах вроде не входит в их планы. По крайней мере, единовременное.

Через несколько минут камера наполнена едким черным дымом настолько, что становится почти невозможно дышать.

— Я позвоню! — решает Юля. — Пусть хоть форточку откроют, сволочи!

И она надавливает кнопку безмолвного звонка, которым разрешается пользоваться только в самых исключительных случаях. Когда надавливаешь эту кнопку, в коридоре, у столика дежурного, зажигается номер камеры.

Через некоторое время отрывисто лязгает дверная форточка и в нее просовывается тонкогубая прыщавая физиономия Вурма.

— Чего вам? — злобным шепотом спрашивает он.

— Хоть форточку откройте... Ведь задыхаемся, — просит Юля.

Он стремительно захлопывает железное оконце, едва не угодив Юльке в лицо. Уже из-за закрытой дверки доносится его свистящий ответ:

— Откроют, если надо будет.

Паника вокруг нас усиливается. Топот солдатских сапог по крыше становится громче. Из коридора доносятся теперь уже не только шепоты, но и какие-то неопределенные выкрики. И главное — нарушилась могильная тишина камер. Некоторые

заключенные, очевидно отчаявшись дозваться кого-нибудь при помощи безмолвных звонков, начали стучать в двери.

Ольга Орловская выстукивает нам почти открыто. Сейчас надзирателям не до подслушивания. Считываем со стены:

— Похоже... они решили... оставить в камерах... Задохнемся...

— Полкило сахара! — всплескивает вдруг руками Юля.

Накануне был ларек, и нам принесли по выписке полкило сахара.

— Нет, это немыслимо, чтобы им достался, — без тени шутливости говорит Юля.

— Давай съедим...

— Давай!

И мы стали есть его пригоршнями, не ощущая приторности, наоборот, воспринимая его как пищу богов. С краюхой хлеба. Откусывая поочередно то хлеб, то сахар. Хрустя зубами с ожесточением. Отрываясь, чтобы откашляться от дыма. Чтобы им не досталась наша драгоценность. Целых полкило.

Дым стал настолько густым и плотным, что мы уже не видим друг друга.

— Давай сядем рядом, Женька, — говорит Юля и плачет. — Давай простимся.

Мы обнимаемся и целуемся. Потом в нарушение всех правил — терять уже нечего — усаживаемся рядом на Юлину койку. С ногами... Обнимаем друг друга за плечи. Я с ужасом вижу, что Юлины кругловатые, немного несимметричные глаза становятся какими-то выпуклыми. Лицо ее синеет и жилы надуваются, как канаты. Господи, только бы она не умерла первая...

Теперь уже вся тюрьма гудит от криков и стуков заключенных.

— Откройте, откройте! Задыхаемся! Не имеете права! Откройте!

В глазах у меня прыгают разноцветные искры. Не могу понять, настоящие ли это искры пожара, просочившиеся через дверные щели, или это на меня надвигается потеря сознания.

И вдруг я различаю в какофонии звуков, несущихся из коридора, ритмические повороты ключей в замках камерных дверей. Я трясу Юлю за плечи.

— Выпускают! Юля, покрепись еще немного! Слышишь? Нас выпустят сейчас на воздух...

Дым становится черным. Юля уже хрипит на моих руках. Может быть, выбить форточку? Ведь теперь уже все равно. Хочу привстать с постели и... не могу. Видно, конец. Какой страшный и неожиданный. Сколько вариантов смерти перебрали за это время в камерных разговорах. Но от пожара...

— Выходь!

Наша дверь распахивается настежь. Надзиратель Вурм, в смятой и мокрой гимнастерке, весь потный и запыхавшийся,

чуть ли не за шиворот выволакивает ослабевшую Юлю. Я выхожу сама.

— Вниз!

Нет, они были действительно виртуозами своего дела, этот Коршунидзе и его молодчики. Даже в этой панике они умудрились не нарушить изоляцию. Куда они дели всех, мне до сих пор непонятно. Но факт остается фактом: мы с Юлей были выведены вдвоем в закрытый прогулочный дворик. Ни с кем нас не свели, никого мы не увидели.

Но не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В этот день мы надышались вволю. Прогулка длилась не меньше полутора часов, и оправившаяся Юлька заговорщицки подмигивала мне, показывая глазами на небо. Дескать, здорово мы оторвали у них такую прогулочку!

На следующий день Ольга простучала нам, что ее тоже не соединяли ни с кем.

Глава сорок третья

ВТОРОЙ КАРЦЕР

В конце мая 1938 года я получила письмо от мамы. «Дорогая Женечка! Папа скончался 31 мая... Жил человек... Имел специальность, работал. Детей имел, внуков... А за гробом шли двое: я да прачка Клавдя».

А ровно через полчаса после этого письма снова открылась дверь и появился все тот же Сатрапюк. И снова:

— Следуйте за мной!

Даже смерть, наверно, была бы не так страшна, если бы она повторялась дважды. Теперь я шла все вниз и вниз, уже определенно зная, куда иду, и не было во мне того, декабрьского ужаса. Наоборот, какое-то совершенно мертвенное равнодушие. В таком состоянии было бы, наверно, не так уж трудно и к стенке встать, и принять в себя пули.

Да, тот же самый карцер. Та же хламида и лапти, те же две доски, на вершок от каменного пола, вместо ложа, та же тьма кромешная. Но я уже не боюсь, не кричу, не сопротивляюсь. Почти равнодушно выслушиваю Сатрапюка, зачитывающего приказ: «Трое суток нижнего карцера за нарушение тюремного режима — пение в камере». Я даже не говорю ему, что никогда никто не пел. Зачем?

Дверь захлопнута. Я одна в этой тьме. Одна со смертью папы.

Сейчас лето. Об этом можно догадаться хотя бы по тому, что кроме крыс здесь развелось страшно много всякой ползучей нечисти: каких-то жучков, мокриц, сороконожек.

Теперь я уже опытная обитательница карцера, квалифицированная. Я умею следить за течением времени. Я приспособи-

лась к лежанью на двух досках. Только есть здесь я все равно не буду.

Это хороший признак. Брезгливость осталась. Человеческое чувство. Я еще не знала тогда, что впереди меня ждали годы лагеря, когда периодически и это человеческое чувство покидало нас, когда мы ели в любой грязи, чтобы не умереть с голоду.

Ощупью различаю в темноте знакомый во всех деталях карцерный реквизит: и хламиду из солдатского сукна, и лапти, и заржавленную металлическую кружку, стоящую прямо на полу. Но почему-то сейчас в моей опустошенной душе нет того монументально-трагического восприятия всех этих деталей, которое было тогда, зимой. Сейчас мне не хочется ни кричать, ни биться. Наверно потому, что это второй раз. Привычка. Вот так, наверно, там, в Германии, привыкли и к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь... Ловлю себя на мысли: хорошо, что трое суток, а не пять.

Хорошо еще и то, что это только «нижний» карцер, учреждение второго сорта. За эти месяцы я узнала, что их здесь три категории. Ольге сообщила это ее другая соседка. Оказывается, были карцеры третьего сорта, более легкие, чем мой, где горела лампочка, не отнималась камерная одежда. Но зато был и первый сорт, откуда выходили уже обреченными на скорый конец. К счастью, «первого сорта» испытать мне не довелось. А назначались они по сортам не в зависимости от тяжести «нарушений», а только в зависимости от цвета полос на обложке личного дела. Мы с Юлей принадлежали ко второсортным.

Эти трое суток я провожу преимущественно стоя. Приспособилась стоять на досках, подальше от камня, покрытого каким-то скользким сизым инеем и предназначенным заменять изголовье. Стою часами, до изнеможения, а окончательно потеряв силы, погружаюсь в короткий душный сон.

Просыпаюсь обычно от боли и зуда в отмороженных пальцах ног. Эта боль напоминает обо всем. Да, это все еще я. Это все еще тянется.

Я снова становлюсь на доски, и передо мной встает папа. Живой. Мертвого не могу себе представить. Как, в сущности, мало я знала этого человека, давшего мне жизнь. И в то же время какая неразрывная кровная связь. Все внутри сжалось в комок сплошной боли. Отец... Мой, мой отец... Это умерла какая-то частица меня. Как хорошо, что я еще не знала тогда, при каких обстоятельствах он умер. Об этом мне написали только через несколько лет, уже на Колыму. Я не знала, что моих стариков тоже «забирали». Ненадолго, правда, на два месяца. Но их оказалось достаточно, чтобы убить отца. Когда они вышли из тюрьмы, их квартира была занята другими, вещи конфискованы. Они бродили в поисках ночлега по этому городу, где отец был честным и уважаемым работником-специалистом, где работали его дочь и зять — коммунисты. Все

шарахались от стариков. Никто не пустил их ночевать. Только прачка Клавдя оказалась добрее всех.

Все это случилось с ними, пока я была в Бутырках. Но узнала-то я об этом только через три года.

...Я думаю об отце, и по стенам моего застенка начинают плыть нежные картины раннего детства. Цепочка от часов на папином жилете. Ее так интересно теребить, сидя у отца на коленях... Какие-то смешные греческие слова, которым он учил меня на прогулке, рассказывая про свои гимназические годы... Он ведь родился в прошлом веке, он еще учил в гимназии не только латынь, но и греческий... Не было ближе и роднее его до моих восьми лет. Потом долгие годы отчуждения, взаимных болей, бед, обид. Мне не нравилось «социальное происхождение», завидовала подругам, у которых был «папа от станка». Ему не нравилось многое в моей жизни и поведении.

И вдруг по стене плывут буквы из его последнего письма, полученного здесь, в Ярославле: «Не скрою от тебя, что за последнее время я чувствую себя неважно. Но буду бороться за жизнь. Она теперь нужна моим дорогим внукам — Алеше и Васе».

Для моих детей хотел жить... А я уже никогда не смогу теперь попросить у него прощения.

Скорее бы устать от стояния и снова на какое-то время погрузиться в полудремоту, заменяющую сон. Так быстрее пройдут трое суток.

Я опять, как и зимой, не беру хлеба. Но на этот раз Коршунидзе не приходит объяснять мне, что голодовки запрещены. Видно, и они ко всему привыкли. А может быть, им как раз это и нужно — добиться спокойного, без скандалов, отсиживания положенных сроков карцера. А без еды легче попадаешь в это спокойствие полуобморочного изнурения.

Зимой, сидя здесь, я все думала о внешнем мире. Знают ли там об этих застенках? Пытках?

А сейчас я почти не верю в реальность этого внешнего мира. Почти невозможно поверить, например, что сейчас лето и кто-нибудь вот в этот самый момент купается в реке. Потом я сочиняю стихи — о втором карцере.

Все по святым инквизиторским правилам:
Голые ноги на камне под инеем...
Я обвиняюсь в сношениях с дьяволом?
Или в борьбе с генеральною линией?

Тысячелетья, смыкаясь, сплавляются
В этом застенке, отделанном заново.
Может быть, рядом со мной задыхается
В смертной истоме княжна Тараканова?

Может быть, завтра из двери вдруг выглянет,
Сунув мне кружку с водою заржавленной,
Тот, кто когда-то пытал Уленшпигеля,
Или сам Борджа с бокалом отравленным?

Это гораздо, гораздо возможнее,
Чем вдруг поверить вот в этом подвалище,
Будто бы там, за стеною острожною,
Люди зовут человека товарищем...

Будто бы в небе, скользя меж туманами,
Звезды несутся, сплетясь хороводами,
Будто бы запахи веют медвяные
Над опочившими, сонными водами.

Глава сорок четвертая

МЫ ВСПОМИНАЕМ ДЖОРДАНО БРУНО

Зной. Страшный зной стоял в Ярославле летом 1938 года. Газета «Северный рабочий» ежедневно подтверждала это. Местные журналисты красочно описывали плавящийся асфальт, приводили цифры средней температуры за последние годы, доказывая, что «такого еще не было».

Форточка нашей камеры продолжала оставаться закрытой. Все вещи от сырости, от плесени, от застоявшегося воздуха стали волглыми. Солома в подушках и тюфяках прела, начинала гнить.

После второго карцера мы совсем расхворались. Хлеб и баланда не лезли в горло. Я уже трижды просила у дежурного надзирателя иголку, чтобы перешить крючки на моей казенной юбке. Вглядываюсь в Юлино лицо, иссиня-черное, с желтыми подглазницами, и догадываюсь, что мы стремительно идем к концу. В довершение всех бед у меня возобновились приступы малярии. Они, видно, провоцировались удушливой сыростью камеры. После приступов сердце совсем отказывалось работать.

Однажды я потеряла сознание. Юля нажала беззвучный звонок и потребовала врача. Должно быть, я была в этот момент здорово похожа на покойницу, так как дежурный — хоть это и был Вурм — не сказав ни слова тут же привел врача.

Это был первый случай нашего столкновения с ярославской тюремной медициной, если не считать регулярных обходов медсестры с ящичком лекарств. Сестра давала аспирин «от головы», хинин — от малярии, салол — «от живота». Универсальная валерьянка шла от всех остальных болезней.

Придя в себя, я увидела склонившееся ко мне лицо доктора. Оно поразило меня своей человечностью. Настоящее докторское лицо, внимательное, доброе, умное. Оно как бы

возвращало к оставленной за стенами тюрьмы жизни, сверлило сердце сотней смертельно ранящих воспоминаний.

За круглые, мягкие черты, за добродушие, струившееся из каждой морщинки, мы потом прозвали этого тюремного доктора Андрюшенцией. Казалось, что именно так должны были его называть однокурсники.

— Ну вот, — смущенно буркнул доктор, вытаскивая шприц из моей худой, как палка, руки. — Сейчас камфара сделает свое дело, и вам станет хорошо. Будет ходить сестра и дважды в день вводить сердечное.

— Да разве здесь лекарства помогут! — осмелела вдруг Юля, смертельно испуганная перспективой остаться без меня. — Мне кажется, доктор, у нее просто кислородное голодание. Тем более, на дворе такая жара. Может быть, вы дадите распоряжение, чтобы у нас не закрывали форточку, раз такая тяжелая больная?

По лицу Андрюшенции медленно разливается кирпичный румянец. Он слегка косится на стоящего у него за спиной корпусного — «малолетнего Витушишникова» (без сопровождения корпусного врач в камеру не допускается) и отвечает очень тихо:

— Это вне моей компетенции...

Витушишников откашливается и солидно резюмирует:

— Говорить разрешается только про болезнь.

Потом тянутся томительные дни, когда едва теплящаяся во мне жизнь поддерживается только неистребимым любопытством. Увидеть конец. В том числе и собственный конец.

Бейся, мой шторм, кружись,
Сыпь леденящей дрожью!
Хоть досмотрю свою жизнь,
Если дожить невозможно...

Однако, несмотря на такое оптимистическое четверостишие, я наблюдаю у себя опасные симптомы. Вот, например, я уже несколько раз отказывалась от прогулки. А когда потрясенная этим Юля начинала страстным шепотом уговаривать меня «не терять последних капель кислорода», я устало отвечала:

— Не смогу обратно на третий этаж подняться...

Да и метаться по пятнадцатиметровой прогулочной камере тоже не так просто, когда сердце отказывается компенсировать движения.

Шутить тоже становится с каждым днем все труднее. Но временами мы все же пытаемся прибегать к этому испытанному лекарству от всех болезней. Излюбленная шутка-рассказ о неисправимом оптимисте. «Ну раз могила братская, то это уже хорошо». А когда дышать в камере становится особенно трудно, к «братской могиле» добавляется еще:

— А ты подумай-ка про Джордано Бруно. Ведь ему было много хуже. У него-то ведь камера была свинцовая.

После ухода врача мы долго спорим, как расценивать его работу в тюрьме.

— Пари держу: всю ночь сегодня будет во сне тебя видеть. Он ведь добряк, этот Андрюшенция!

— Несомненно! Но тем позорнее для него быть на такой должности.

— А что лучше было бы, что ли, если бы на его месте какой-нибудь Сатрапюк с дипломом?

И Юля оказывается права. Через два дня Андрюшенция наглядно демонстрирует нам свою полезность.

— На прогулку приготовьтесь!

— Не пойду. Не могу ходить.

— Идите. Вам табуретку там поставили. Сидеть будете 15 минут на воздухе. По распоряжению врача.

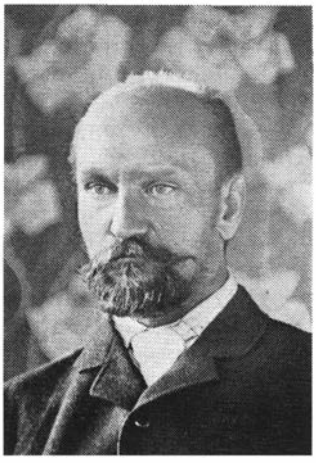
И совсем уже теплое чувство возникает к Андрюшенции, когда надзирательница Пышка, открывая огромным — просто бутафорским каким-то — ключом нашу форточку, одобряюще прошептала:

— Вам не десять, а двадцать минут проветривания. По распоряжению врача.

И хотя раскаленный воздух в квадратной форточке стоит неподвижно, мы все же радостно переглядываемся.

— Вот видишь! А ведь у Джордано Бруно камера была свинцовая...

Продолжение следует



ИОСИФ РАЙНИСА

Многократно использованный сюжет из Книги бытия о прекрасном юном Иосифе, непонятом и проданном завистливыми братьями, нашедшем убежище в Египте и ставшем там первым человеком после фараона, принимавшем потом попавших в беду братьев и в конце концов, после мучительной внутренней борьбы, простившем их, стал для Райниса канвой трагической исповеди.

Воспитанный на Библии и античных авторах, в молодости усвоивший основы учения социалистов и связавший с ними свою судьбу, долгие годы вникавший в священные книги и предания Востока, Райнис искал такой синтез, такую мудрость и силу, которая помогла бы преодолеть проклятие зла и смерти. Не только в себе, но и во всем человечестве.

«Иосифа и его братьев» Райнис писал долго, мучительно, с большими перерывами (1906—1919). Первым импульсом послужил сон, увиденный еще в начале века. Он стоял в египетском городе Мемфисе на высокой башне или пирамиде и обозревал весь мир. Предчувствие судьбы Иосифа? Когда через пару лет пришлось отправиться на чужбину, супруга Райниса, поэтесса Аспазия, увидела в этом подтверждение, ведь и возвышение Иосифа началось в изгнании.

Премьера состоялась в Риге, в Национальном театре (1920). И здесь Аспазия узрела доброе предзнаменование: в день представления с самого утра за окном светилась радуга, а был уже ноябрь. Постановке сопутствовал огромный успех.

Так вспоминает автор в предисловии к «Иосифу» (1925).

Итак, братья договариваются за спиной отца умертвить Иосифа. Внезапно у оврага, где он пасет скот, появляется Дина. В ней перемешался леденящий страх с трепетной ласковостью, она предвидит надвигающуюся беду, она всю себя приносит возлюбленному, но их счастье длится только миг. Навек принадлежащими друг другу, целомудренными и просветленными они идут на смерть.

Но яма с терновой подстилкой, куда его столкнули, не стала могилой Иосифа. Мы его, уже тридцатилетнего, опять встречаем в Египте, стране высокой культуры и благоденствия. Женатый на дочери верховного жреца, родившей ему сыновей, всеми почитаемый и богатый, покоя и радости он не нашел. Его гложет жажда мести. Разве можно братьям простить такое? Не будет ли это соучастием во зле, потаканием подлости?

Несколько раз обедневшие и изголодавшиеся братья приходят к царедворцу Иосифу за помощью. Помимо прочего, они рассказывают, что убили «эту никчемную девчонку» Дину. Никем не узнанный, скрывая негодование

и отчаяние, он досыта унижает их. Но это не приносит удовлетворения. Он с ужасом видит, что месть лишь опустошает. Ненавистью не искоренить ненависть.

Как быть? Египетский мудрец поучает:

Когда велик, позволь себя обидеть!
Когда силен, не защищай себя!
Когда ты мощен, не топчи другого,
Но подними его, — сам выше станешь![1]

Умом понятно, но как приказать сердцу? Ведь видит он, что, даже валяясь у него в ногах, братья лукавят. Слишком поздно и случайно один из них обронил: «Милый мальчик!». Да, такие слова лечат душу. Даже искушенному и пресыщенному придворному трудно устоять перед ними. Но Иосиф уже освободился от иллюзий этого мира. Образ опередившей его Дины влечет в неведомое.

Я снова вижу родину свою:
Вот там — скала... там — Дина, я восстану...
Я в смерти не умру...

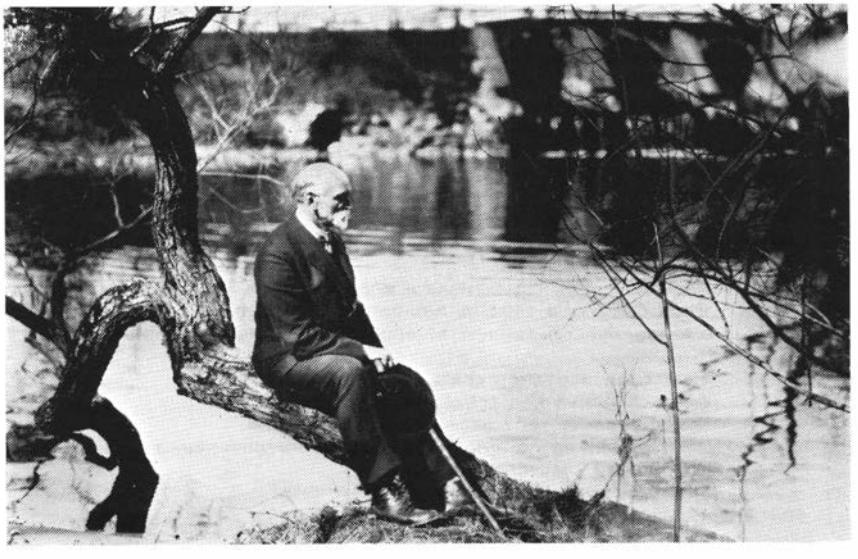
Он готовится к самой трудной битве не против, а за, битве, никого не губящей, но всех возрождающей, преобразующей зло в добро.

Приду в согласие с единым сущим;
Мир не отвергнуть, но постичь его!
Наедине с людьми найду покой,
Не будет там стены меж «я» и «он»,
Меж правым и неправым... быть — не быть...
Тогда я возвращусь отдать вам солнце.

Трагедия кончается словами верховного жреца Потифара:

...Здесь
Он погасил себя для новой вспышки.

[1] Здесь и далее — перевод В. Елизаровой.



Райнис в 1925 году

Через века веков вернется к нам
Кахемна новый!

Вновь и вновь мы возвращаемся к Дине. Она как цветок раскрыла свои лепестки, чтобы милый мог пить мед ее души. Она знает, что ее жизнь висит на тоненьком луче. В такой час каждое слово, даже взгляд — как завещание.

Сандр РИГА

Ян РАЙНИС

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ (фрагмент)

Перевела Валентина ЕЛИЗАРОВА

Со стороны кустарника выходит ДИНА, она несет в руках узелок. Одета в праздничный наряд, но без украшений. Верхние одежды для удобства заправлены вовнутрь. Она останавливается в кустарнике и зовет тихим голосом.

ДИНА.
Иосиф, Иосиф!

ИОСИФ (не замечая ее).
О, сладкий голос, не во сне ли слышу!

ДИНА (выходит вперед).
Иди, не бойся, это я.

ИОСИФ.
Ты, Дина!

ДИНА.
В кустах от пастухов скрываюсь.

ИОСИФ.
Но...
Не видела их в поле!

ДИНА.
Даль укрыла.
Как горностай, скользнула я оврагом.
Слов сладких в сердце, как цветов на скатах.
Переполненная чувств, торжественная, высвобождает заправленные края одежды.
Твой взор исполнен света. Пусть прольется
Благословенье над тобой, как солнце,
Что кланялось тебе всем звездным миром.
Преклонив перед ним колени, воодушевленно.
Колени эти счастливы: они
Вперед других перед тобой склонились.

ИОСИФ (испугавшись).
О, что с тобой! — Мне стыдно!

ДИНА (тоже смутившись).
Я... меня...

ИОСИФ (поднимая ее).

Ты, Дина, гордая, ты ль предо мной!
Не побоялась страх преодолеть!
Здесь львы рычат, подстерегает тать...
Горит огонь пустыни, жгут колючки...

ДИНА (взяв себя в руки).

Ну и пускай!
Я — здесь: прислал отец...
Тебя приветствовать, сказать тебе...
Ах, бедный наш отец!

ИОСИФ.

Что с ним теперь!

ДИНА.

Отец в рыданьях места не находит...
В хлев из шатра идет, из хлева в сад,
Потом на пастбище, гоним тревогой...
И без конца стенает: «Сын мой! Сын!
Что натворил я в непомерном страхе!»
Ты не кори его — что может он!
И дома не сумел бы уберечь,
Хоть спрятал бы тебя в своей ладони,
Ведь ненависти братьев нет заслона!..

ИОСИФ.

Отец мой бедный!

ДИНА.

Он мне сказал: «Снеси ему наряд!»
В шатер свой ввел тайком, чтоб не видали
Другие. «Дина, — ласково сказал, —
Бледнеешь ты, едва его увидишь,
Ты от него бежишь, как тень от солнца
Бежит, чтобы в кустах стыдливо скрыться;
Еду ему несешь — дрожит рука...
Приметил я: его ты любишь, Дина...
Пускай твоя любовь себя проявит!
Снеси ему наряд вот этот яркий!»

Она вынимает одежду из узелка.

ИОСИФ.

Чудесен он!

ДИНА.

Постой, — отец промолвил:
«Скажи ему про все мои стенанья,
Что голова седая никнет долу...»
Когда пред ним упала на колени,
Меня благословил: «Благословенье
Мое снеси тому, кого мы любим!»

ИОСИФ.

Отец, любимый мой!

ДИНА.

Целуй же голову мою, коснешься
Руки отца... Возьми благословенье,
Как ветвь оливы, с головы моей!

ИОСИФ (берет ее голову и целует).

Беру благословенье... Словно нарды
Из чаши золотой дыханье льют!
Душа от двух святынь вкусила зной:
От принесенной и от приносящей.

Он быстро отступает.

ДИНА.

Дохнуло на тебя благословенье

Моей души, — оно сошло скорее
Отцовского: душа быстрее слова!

ИОСИФ (смущенно).

Меня ты избегала, Дина...

ДИНА (снова торжественно).

Иосиф!
Отец добавил и судьбы вещанье:
«И люди все к ногам его падут!»

ИОСИФ.

Мне боязно...

ДИНА.

Что там! Еще сказал:
«Да будет свят его благословивший,
Проклявший будет проклят навсегда!»

ИОСИФ.

Довольно проклинать! Устало сердце!

ДИНА.

Крепись! Тебя великий жребий ждет,
Но прежде ждут опасности большие:
Сегодня небывалое случится.

ИОСИФ (испуганно).

Что!

ДИНА.

Посмотри! Наряд твой — символ чести!

Широко разворачивает одежду.

Взгляни еще: пестреет небо в звездах, —
Надень — ты в нем земной владыка неба!

ИОСИФ.

Как он красив!

Сбрасывает старый плащ пастуха и накидывает принесенный наряд.

ДИНА (разглаживая складки).

Как ты прекрасен в нем!

ИОСИФ.

И радостно!.. И стыдно!

ДИНА.

Улыбнись!

Иосиф похаживает, довольный, любуясь собой.

Великолепно! До травы одежда...
Ликуй! Пусть звездами глаза сверкают!
Счастливый самый, улыбнись и мне!

ИОСИФ (охваченный и радостью, и горем, вздыхает).

Опасный дух предчувствий придавил.
Улыбку на устах смахнул, как дымку.

ДИНА.

Ты видишь, для тебя я нарядилась, —
Сегодня станешь пастырем великим:
Начнешь пасти небесных звезд стада!

Показывает на его звездный наряд, потом внезапно весело.

Я бахрому заправила — для прочих,
А ты — смотри!

Высвобождает на груди край одежды, украшенной вышивкой и бахромой.

ИОСИФ.

О Дина!

ДИНА.

Весел будь!..
Пришла сказать тебе еще словечко:
Любимым будешь ты в своей семье!

ИОСИФ.

Свершится ль то, чем я горю! Ты видишь,
Что ненависти братьев нет заслона!

ДИНА (отчаянно).

Ты глух пока, ты слеп еще до срока,
Своей семьи и сам еще не знаешь.
Ты никогда не чувствовал, мечтатель!
С тобой нежны все жены Израиля:
Когда проходишь полем мимо них
И даже глаз на них не поднимаешь,
День целый счастливы они, твердят:
«Тот юноша! Мы видели его!
Как нежный солнца луч скользнул по полю:
Кто любит жниво, любит и жнею».
Твой вещий сон мы знаем: как снопы
Вязали вы, как звезды появились . . .
Однажды все возьмутся за снопы:
Хлеб верх возьмет, с ним — ты,
С тобою — нежность.
И в женской нежности найдешь семью, —
И звезды перед нежностью склонятся.
Они — твоя семья, меня послали
Тебя приветствовать.

ИОСИФ.

Спасибо им!

ДИНА.

Благословеньем неба ты отмечен,
Благословением земного чрева
И лона матери, ты среди братьев
Один помазанник!

ИОСИФ.

Благодарю.

Кланяется ей.

ДИНА.

Твоя семья еще тебе послала
То высшее, что женщины даруют,
Чем обладают, — поцелуй любви.
Мы в поцелуе выдыхаем душу.

ИОСИФ.

Ах, Дина . . .

ДИНА.

Целуй меня в уста! — Мои уста
Израильские дочери лобзали,
Губами собрала их поцелуи,
Тебя алкающие, — сладкий сбор.

Иосиф целует Дину, потом вдруг начинает рыдать.

Что плачешь ты!

ИОСИФ.

Я там любовь обрел,
Где не искал; а где искал . . . они . . .

ДИНА.

Знал их вражду, потом любовь узнаешь,
Но взять любовь нельзя — ее дают.

ИОСИФ.

Я столько дал, даю и все отдам, —
Но где любовь! Лишь злоба скалит зубы.

ДИНА.

Любовь не просит, но дает, дает
И ненависти их сполна воздаст.
Пусть как гора вражда и словно яма —
Любовь огромней ненависти, глубже,
Как солнце, кроет гору, полнит яму.

ИОСИФ.

Не поминай о ней! . .

ДИНА.

О чем!

ИОСИФ.

О яме!..
Сама ты чудо чистое любви!
Даруешь гордые уста, — а с ними
Родник Эдема, счастья свежий сад,
Которых мы в немой дали взыскуем...

Обнимает ее, становится на колени.

ДИНА.

Мне стыдно... знаешь ты, кто дал мне силу
Тебя поцеловать! Сегодня девы,
Желавшие поспать тебе привет,
Встревожились: «Кто отнесет его!»
Я младшая из звезд, я согласилась!
Однажды вспыхну я, чтобы пропасть, —
Лишь я могла нести благословенье,
Горящее для тех, кто канет в смерть...

ИОСИФ.

Что! Умереть! Кто вынудит тебя!
Я не позволю, я...

ДИНА.

Сказали жницы:
Люби его, как перед смертью любят!
Вихрь радости пускай его взметнет!
Иди, отдай ему все без остатка!
Кто все отдаст, тот должен умереть.

ИОСИФ.

Ты, Дина, ты... Нет, не могу принять!
Люблю тебя сильнее с каждым мигом...

ДИНА.

Ты любишь... Ну, тогда скажу я слово
Ужасное, но любящим приятно...

Иосиф порывисто берет ее за руку, она вырывается.

Помазанники смерти, как святые...
Все могут от детей земли принять.
Любовь, что те несут...

ИОСИФ.

Я! Смертью мечен!

ДИНА.

Сегодня днем, а может быть, сейчас...

ИОСИФ.

Умру!

ДИНА.

Решили братья...

ИОСИФ.

И Иуда!

ДИНА.

Иуда.

ИОСИФ.

Что, и Рувим!

ДИНА.

Да, все.

ИОСИФ.

Как! И отец!
Мне рано умирать!

ДИНА.

А эти девы...

ИОСИФ.

К чему любовь всех дочерей Израиля!
Кричат орлятами в гнезде скалистом
Мои готовые исчезнуть мысли!..

ДИНА.

От теплых гнезд повыше... Ты еще
Не любишь...

Закрывает лицо руками.

ИОСИФ.

Ты посланницей пришла...

ДИНА.

Чтобы пойти на смерть!

ИОСИФ.

Ты не отступишь.

ДИНА.

Благодаря тебе... тебе! И я...

Вдруг начинает плакать.

ИОСИФ (наконец поняв, обнимает ее).

Ты — сердце! Жизнь! — И ты пришла сама!
Меня ты любишь!

ДИНА (освобождаясь).

Разве ты не слышал!

ИОСИФ.

О глухота моя! О слепота!
Любимая! С глаз спала пелена:
Все вспыхнуло, как сухостой в пустыне!
Любви костер несчастьем заглушен.

ДИНА (отнимает руки от лица).

Несчастьем! Если бы огня подбросить!
Ты понял все, теперь тебе скажу:
Кто говорил с отцом! Кто жниц настроил!
Кто собирал любовь тебе на радость!
Ты, глупый, милый и великий!

Иосиф хочет ее обнять, она отступает.

Стой!
А наряжусь-ка я слепого ради.

Достает фату из узелка и накидывает ее.

Смотри, фата! Она идет мне!

ИОСИФ (протягивая руки).

Боже!

ДИНА.

Нет, сядь!

ИОСИФ (садится и кладет рядом свой пастуший плащ).

Вот плащ мой! Становись сюда!

Дина наклоняется и целует его.
Он мечтательно, медленно говорит, закрыв глаза.

Когда целую я твои уста,
Мне сладкий сон хмельной глаза смежает:
Пыльцой серебряной, благоухая,
Сверкает и слетает летний дождь;
Как будто ночью в ожиданье утра
Цветы проснулись, и листва, и травы...

Внезапно замолкает.

ДИНА.

О, не молчи! Твои прекрасны грезы!
Не презирай травинки — все твои!..

ИОСИФ.

Молчит душа... Все травы я люблю,
Былинку малую и дуб мамрийский;
Любые деревца, любой росток,

Как душу, запахи свои таят
Внутри ствола, одетого корой.
Без аромата и растенья нет,
Чутье мое еще не слишком тонко,
Чтоб уловить легчайшее дыханье,
Что воспаряет и колеблет воздух...
Иуда не бездушен. Симеон,
Быть может...

Поник задумчиво, тихо.

Или нет!

Умолкает.

ДИНА.

Что ж ты! Мечтай!
В моей душе — дыхание цветка.
Порывистей и слаще дышит белый,
А золотистый — сдержанней... я — белый...
Я сразу отдала тебе цветок...
Уж нет в моей душе благоуханья, —
Ты любишь ли меня такой!

ИОСИФ (порывисто).

Люблю...

ДИНА.

Боюсь я: все внезапно отдала,
А для любви уже иссякло время.

ИОСИФ (порывисто обнимая).

Так в ночь однажды вдруг придет весна,
Однажды средь цветов проснется утро,
И не успеет вырасти пуна,
Уже плоды, томясь, пылая, зреют.

Вдалеке звук рожка.

ДИНА.

Рожок!

ИОСИФ.

Отвратный! В этот миг!

ДИНА.

Мне страшно.
Там, где другие любят много лет
И лепе их цветет и не скудеет,
Нам, бедным, дан неуловимый миг
От песни жаворонка самой ранней
До песенки синицы.

ИОСИФ.

Ангел мой!

ДИНА.

Без света и тепла цветенья нет,
Как без любви души. — Так лучше вспыхнуть
И вдруг угаснуть, чем неспешно меркнуть.

ИОСИФ.

Дыхание цветов слабеет в зной,
С вечернею прохладой нарастает.

ДИНА.

Но есть цветок, что дышит вместе с солнцем...
Так я дышу — в тени и увядаю.
Нет мочи не цвести, увянуть легче:
Страдать в цветенье, падать, умереть.

ИОСИФ.

Не умирай! Ведь ты — моя звезда...
И в смертный час мой взгляд тебя отыщет.

Дважды зовет рожок.

ДИНА.

Пора спешить! Как выдохнуть любовь!
Ветр бурей разрядится, туча — громом...
Любовь... слова, объятья, поцелуи!
Достает плоды и проверяет, не осталось ли еще.
Прими плоды небес, росы земной,
Глубин, вершин, плоды пуны и солнца
Возьми, — они с другими вместе зрели,
Сил придадут тебе... твоя душа
Пусть будет деревом зеленым, вечно
Пусть обновляется его листва,
Пусть мое сердце будет родником,
Его питающим! Благословляю...
Но слово — плод без сочности, лишь в сердце
Увязла сладость, словно мед в колоде.

Троекратно трубят.

ИОСИФ (рванулся, хочет встать и взять свой рожок).

Уж близко — надобно ответить!

ДИНА.

Стой!
Позволь пожить еще хоть миг! Обнять,
Поцеловать тебя и умереть!

ИОСИФ.

Прочь смерть! В тебе и молния, и гром...
Беги! Домой вернешься невредима!

ДИНА (печально).

Иосиф, милый, ты меня не понял!
Мечтаешь о своем, меня не видишь
И обижаешь, как они — тебя...
Нет, я умру, умру... люби меня!

ИОСИФ.

Люблю,
Все забываю — даже смерть
И самого себя!

ДИНА.

Себя! Не надо!
Сильней тебя я за тебя боюсь:
Что, если схватят! Можешь ли отбиться!

ИОСИФ.

Минует!

ДИНА (пугливо).

Вдруг!

ИОСИФ.

Спасет овраг.

ДИНА (еще настороженней).

Не пустят.

ИОСИФ (вскакивая, встревоженно).

О ужас!

ДИНА (тихо).

Вот любви последний дар.

Вынимает маленький кинжал.

Кинжал меня берег — возьми его!
И этот дар моей любви превыше:
Отныне жизнь твоя в твоих руках.

ИОСИФ.

Луч из твоей груди в мою войдет!
— Так умереть! — А как вернешься! — Ужас!

ДИНА (восторженно, с возрастающей страстью).

Судьба меня хранит. — Пойду туда,
Где зверь и человек меня не тронут.
Лишь ты один меня коснуться можешь.

Что озарили раз твои глаза,
До тех высот другим не дотянуться!
Меня увидят лишь зеницы солнца,
Твое оно: перед тобой склонилось!

ИОСИФ.

Единственная, ты куда пойдешь!

Издали слышны голоса зовущих.

ДИНА (в экстазе).

Там есть скала, куда не прыгнет серна...
Но я взберусь, чтобы остаться там!
И солнце вновь возьмет меня к себе,
Ко мне приставит собственных служанок:
Днем — раскаленных, за полночь — студеных.
Дождь голубой пройдет, белесый ветер...
И плоть мою они развеют в прах,
И пустят по ветру, разъяв на части:
Вода с водою и с землей — земля;
Прикроют кости травкой и песком;
Дыхание к тебе поднимут, к солнцу!

Снова слышатся звуки рожков и голоса.

Теперь трубы! Могу идти... Готова
На смерть...

ИОСИФ (бросается на колени).

Высокая моя! Святая!
Твоя любовь меня пронзает зноем!
Два пламени любви кто одолеет!
Пускай идут, я не боюсь, — осилю!

Трубит в рог.

Слышно, как трубят в рога, различимы голоса.

ГОЛОС (за сценой).

Он здесь!

ДИНА.

И ты, и я уходим в смерть...
Ты мертвый не умрешь — посланцы солнца
Крылатое раскинут покрывало...

Бросаясь и поддерживая покрывало, касается разноцветной одежды Иосифа.

Одежды эти разостлав, как небо,
В мир солнца яркий унесут тебя,
Осыплют золотом дождя...

Целует Иосифа и поспешно уходит.

ГОЛОСА (ближе).

Где ж он!

ДРУГОЙ ГОЛОС.

Он не один!

СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛОС.

Кто ж с ним! — Смотри! Смотри!

ДИНА (прибегает обратно).

Еще разок взгляну: запомнить образ
И унести с собою в мир теней!

ИОСИФ (вскрикивает).

Беги!

Дина убегает.

Владлен ДОЗОРЦЕВ

РУССКИЕ В ЛАТВИИ

Академик Лихачев высказал вот какую мысль: впервые за нашу тысячелетнюю историю интеллигенция — вместе с высшим руководством страны. Не знаю, как насчет тысячелетия — я не историк, но во всяком случае я не помню другого такого периода, когда бы интеллигенция страны так искренне поддерживала основные начинания власти. Попытка создать государство с человеческим лицом, предпринятая сверху, сняла вечный антагонизм между художником и верхами. Интеллигенция раскрылась и с истинно романтическим увлечением включилась в борьбу.

Сужая политический масштаб страны до одной пятнадцатой, скажу, что высшая точка этого энтузиазма в Латвии совершенно определенно пришлась на первую половину июня — пройдет немало лет, а мы еще долго будем возвращаться к этим двум неделям календарного лета восемьдесят восьмого года, начавшимся пленумом творческих союзов (так, по существу, следовало бы назвать расширенный пленум правления Союза писателей республики), создавшим свою резолюцию, вокруг которой закипели страсти. Я был участником этого пленума и одним из редакторов этой резолюции и хотел бы объяснить некоторые вещи без дипломатии и недомолвок.

Резолюция была опубликована в русских и латышских газетах республики полностью. Тем не менее необходимость комментировать ее, обращаясь к тексту, есть не только потому, что большинство читателей журнала живет за пределами Латвии, а потому, что внутри республики реакция на нее оказалась полярной. В некоторых случаях — резкой и тревожной. Я бы назвал ее «русской реакцией», как бы это ни звучало. В чем тут дело?

Строго говоря, пленум (и его итоговый документ) был рожден национальными силами — и по составу участников, и по списку экспертов, и по преимуществу выступавших. А главное — по той боли, которая и послужила причиной. Теперь почему-то именно это прежде всего ставится нам в упрек на заводских собраниях и митингах, в письмах и откликах. Мол, разве непонятно, что это латышская инициатива!

Да, это так. А чему тут собственно удивляться? Почему это следует счесть ненормальным? Почему латышский народ, сделавший для себя трагическое открытие (приход к национальному меньшинству на своей этногеографической территории), не имеет права на свой собственный анализ причин, которые к этому привели? Я бы сказал более того: почему этот народ должен ждать, пока за него кто-то возьмется решать его специфические национальные проблемы? Где, кто, когда и на каком форуме обещал латышам (калмыкам, белорусам, татарам и т. д.) принять экстренные и конкретные меры национальноохранительного свойства — политические, экономические и культурные? Да и вообще почему нужно, чтобы кто-то сделал это? Ждали десятки лет. Жевали громкие слова на

самых высоких трибунах. Совет национальностей давно перестал существовать как реальный судья и регулятор национальных проблем, хотя им руководили те же рубены и воссы. Союзные ведомства, не считаясь ни с чем, перекраивали на свой лад традиционные структуры регионов. Кто их попытался остановить? Кто остановил теоретиков, обещавших оскорбительную для любого малого народа перспективу слияния всех наций в одну? В этакое национальное эсперанто! И наконец разве не ясно, что накапливающийся в атмосфере энергетический потенциал когда-нибудь достигает критической величины. И тогда возникает разряд. Вот гром грянул. Национальное самосознание, резко возросшее в период перестройки всех систем сообщества, вылилось в Латвии в конкретную национальную инициативу. Кого и в чем тут упрекать? Почему русские люди, живущие в республике (не все, конечно, но многие), отнеслись к этой инициативе с такой неприязнью и ревностью, как будто мы сами хотели выступить со встречной инициативой национальной экологии народа, на базе которого мы живем, а нас опередили. Может, мы уже предлагали латышам такую программу, а они отвергли ее? Не помню.

Может быть, нам кажется, что национальная ситуация в стране не так уж плоха и творческая интеллигенция просто нагнетает страсти? Тогда почему на XIX партконференции в массе выступлений прозвучало требование созвать Пленум ЦК КПСС по национальному вопросу? Тогда почему делегаты республик союзных и автономных выплескивали с трибуны одну и ту же боль? Трагедия монокультуры в Узбекистане. Взрыв национального сожительства в Закавказье. Умирание калмыков. Меньшинство коренной национальности в Латвии...

Еще русская точка зрения, имеющая хождение сегодня в республике, состоит в том, что резолюция пленума по своей конструктивной сути — якобы программа национально-эгоистическая, то есть националистическая. Я хочу оговориться, что тут я сильно выбираю выражения. Во всяком случае, мне на встречах с публикой приходилось слышать такие степени оценок и ярлыки, которые не употребляются со времен Жданова. А что касается страстей и жестов при этом, то временами мне казалось, что я не на умеренном и хладнокровном северо-западе, а на взрывном и пылком юго-востоке. Причем наивно было бы думать, что жупел национализма ходит лишь в рядах простодушного Центрального рынка или в общежитиях Огрского трикотажного комбината (сплошь заезжего по составу). Последняя дискуссия в Институте инженеров гражданской авиации, где огромный зал открытого партсобрания был заполнен профессорско-преподавательскими кадрами (давно и постоянно живущими в Латвии, зачастую даже родившимися здесь и считающими ее своей родиной), подогревалась теми же возгласами об угрозе национализма. Даже национал-социализма! Якобы прокламирующегося писательской резолюцией. Нас обвиняли в изоляционизме, нас одергивали от имени рабочего класса, нам напоминали, что интеллигенция ест чужой хлеб, не производя никаких ценностей, кроме ядовитых, нам намекали, что в прежние годы был порядок и расцвет дружбы народов...

Не будем говорить о том, что было в замечательные прежние годы.

Давайте, однако, разберемся: так ли это — действительно ли писательская резолюция есть вариант национализма. В конце концов документ под руками.

Непредвзятый анализ показывает, что на 90 % текст состоит из констатаций и требований общедемократического свойства, работающих на любого жителя, кем бы он ни родился и где бы он ни жил. Примерно те же положения обсуждала недавно XIX партконференция. Передача реальной власти Советам. Реформа избирательной системы. Децентрализация управления. Право регионов самим решать свою судьбу. Создание механизмов общенародного контроля. Борьба с ведомственной затратной экономикой, приводящей к деформациям в диапазоне от экологии до демографии. Реальный хозяйственный расчет. Борьба с практикой остаточного

метода в финансировании культуры и быта. Закрепление хозяина на земле. Развитие всех форм кооперации. Отношение к сталинизму как к системе беззакония и политической демагогии. Создание правового государства. Дань памяти жертвам сталинского произвола. Гарантии невозвращения эпохи террора и геноцида. Разработка проблем государственности национальных республик. Возвращение к ленинскому принципу социалистического федерализма. Возрождение национальной культуры и языка...

Можно было бы цитировать целые главы или разделы резолюции (если бы она не была полностью опубликована) с одной лишь целью: чтобы спросить, где тут тот самый национализм, которым нас пугают? В каком абзаце? В каком конкретном тексте? Да, все заключения и идеи развернуты в сторону одной республики — Латвии. Но о Латвии на этот раз и речь! Наговорившись за три года перестройки о демократизации и путях экономики страны в целом, писатели Латвии наконец взялись за экспертизу положения в своем регионе! Да, документ в целом весь проникнут острой неудовлетворенностью существующим положением, болью. Но ведь собрались не на праздничные посиделки по случаю рождества Христова. Для того и сошлись, чтобы вскрыть все болевые точки и язвы. Да, выводы и требования конкретизированы до подробных мер, часто резких и небезболезненных. Но ведь надо реально и быстро остановить процесс деградации территории и народа!

Наконец, правда и то, что часть резолюции впервые столь остро ставит щепетильные проблемы национального самосуществования и межнационального сосуществования. Причем ставит так, что это требует от нас, русскоязычных в Латвии, известной отзывчивости и понимания, я бы даже сказал, перемен в социальном поведении. Но не жертв. Вот тут-то, как мне кажется, и возникли встречные опасения и упреки, что, собственно, я и называю русской реакцией на резолюцию.

Посыпались вопросы. Что — Латвия для латышей? Что — заставят изучать язык? Что — гражданство республики с визовой политикой? Что — будут дискриминировать при приеме на работу? Что — урежут долю жилья?

И пошли собрания, митинги, письма в ЦК...

Я в десятый раз верчу в руках газету с резолюцией. Где, в каком месте документа есть почва для этих опасений? Кто прокламирует все эти насильственные, мрачные вещи и в каком пункте? Я прошу профессуру и преподавателей показать точный абзац, фразу.

Вот, говорят, остановить миграцию. Это про кого речь?

И что же? Я русскоязычный человек, живу в Латвии с 1951 года. На моих глазах традиционная аграрная страна Латвия с культурой стола и быта перепрофилировалась в безразмерный цех обработки и сборки на привозном сырье и заезжей рабочей силе. 4 миллиона сторонних людей — и хороших мастеров, и авантюристов, и бессребреников и рвачей — прошло через города и села республики за послевоенные годы. Часть осела, часть ушла, оставив свои следы. Процесс этот продолжается. Союзные ведомства все наращивают материалоемкие и трудоемкие производства в безответном регионе, перемещая людские массы и перемешивая их (в прошлом году мигрировало сюда почти девятнадцать тысяч). Республика, которая не имеет практического права сама решать, где и что ей строить, сколько продовольствия оставлять для своего стола и что отдавать, республика, которая должна утверждать в Москве любую мелочь в диапазоне от штатного расписания предприятия до тематики телефильма, республика, которая должна слепо следовать рекомендациям центра в выборе способов труда и точки зрения на историю, в оценке политических акций и внутренних взаимоотношений — суверенна ли такая республика и в чем тогда ее суверенность, декларированная Основным Законом? Вообще экономично ли и политично ли иметь такую «суверенность» для страны в целом, которая состоит в конце концов из тех же республик? И кто бы я ни был — русский, латыш или поляк — можно ли безразлично относиться к тому, что неправовые, да еще и неумные методы руководства, родившиеся в голове

одного чиновника, пусть даже и очень крупного, немедленно тиражируются и насаждаются равномерно по всей стране. Что знает Минэнерго об особенностях территории, на которой оно рисует будущую Даугавпилсскую ГЭС или Лиепайскую АЭС? Оно знает, что ему нужно освоить капиталовложения. Что учитывает то же Минэнерго из реальной продовольственной, бытовой, демографической, транспортной ситуации в Латвии, привлекая сюда новые вербованные массы и перенапрягая все и вся? Оно учитывает, что ему нужно освоить капиталовложения. Я не поддерживаю разговоров о том, что в этом перемешивании людской каши и чрезмерном интегрировании экономики регионов есть некий стратегический умысел повязывания отдельных частей в целое. Я думаю, что просто никто ни за что не отвечает и глупость рождается сама по себе, как сорняк в поле. Потом начинается демагогия. Никто не заинтересован в том, чтобы в Латвии возникла новая проблема. Просто некому думать о том, чтобы она не возникла. Просто центрально-ведомственная система рождает особую психологию своего аппарата: масштабную фанаберию к малым регионам и деталям местных условий. А ведь эти детали и формируют последствия. Я не поддерживаю также разговоров об исторической миссии того или другого народа, о его особости, видя в этом лишь чванство и малокультурье. Я не люблю разговоров о национальном преимуществе, полагая, что нет никакой вины в том, кем родился человек, как нет в этом и никакой его заслуги. Но я могу понять разницу в национальной оценке той или иной союзной глупости, отражающейся на населении, допустим, Латвии. Скажем, отношение к диктату ведомств русского-рижанина и рижанина-латыша. Нет ничего ненормального в том, что реакция коренной национальности на глупость острее и раздражительнее, поскольку ему как бы предлагается импортная ересь. А еще более потому, что в малом народе всегда живет понятие последнего рубежа. А еще и потому, что наслоилось столько исторических драм и обид, которые принес малому народу царизм, а позднее сталинизм руками более крупных народов. И нужно очень много интеллигентности, чтобы не поставить знак равенства между отношением к имперской политике и отношением, допустим, к русским. Не всем это удается.

Мне кажется, что, кроме одного неудачного и я бы сказал спекулятивного выступления на пленуме, латышские писатели и композиторы, художники и актеры, архитекторы и журналисты рассматривали все горячие проблемы именно с высоты этого интеллигентного понимания. И резолюция отражает эту высоту. Даже в вопросах миграции, поскольку ставится вопрос только о причинах. Устранить экономические причины и остановить процесс, а не демонтировать уже сложившуюся многонациональную конструкцию. Остановить — это тоже непросто и небезболезненно. Но демонтировать нельзя вовсе. И никто не ставил таких задач. Сказано буквально: регулировать и контролировать процесс миграции. Причем добавлено тут же, кем и каким путем: местными Советами и обязуя предприятия платить в бюджет Советов за привлеченную рабочую силу, дабы покрыть социальные и коммунальные нужды приезжих. То есть путем экономическим.

Мне говорят: а считать одной из приоритетных задач сохранение и развитие латышской нации — это что значит? Во-первых, у этой посылки есть конкретный и тревожный повод — впервые за многовековую историю возникший национальный минорите. Народ — не шагреневая кожа! Во-вторых, тут же рядом сказано: в то же время обеспечить соблюдение принципов интернационализма и уважение к правам и человеческому достоинству проживающего в Латвии гражданина любой национальности!

Мне говорят: а требование о государственном языке республики? Это о каком языке?

О латышском, да. Между прочим, там же замечено: как это имеет место в трех республиках Кавказа. И что же: там, на Кавказе, от этого страдает русскоязычное население? С национальным языком делопроизводства и официальной жизни сталкивается любой иноязычный человек массы стран мира. При развитой

системе переводчиков и переводной техники это никому не осложняет жизнь. Что нас пугает? Что нам выдадут справку на латышском языке? Ну так переведем эту справку. Я только что заполнял массу сложных документов на английском при зарубежной поездке, хотя английский не знаю (учил немецкий). Мне помогли те, кто английский знает.

Ну хорошо, мне говорят: а считать владение другим языком показателем профпригодности?

Ну, во-первых, оговорены сферы, где считать. Сказано: в государственных и советских учреждениях, особенно в отраслях, связанных с социальной сферой, то есть там, где работник сталкивается с клиентурой. В здравоохранении, например, в милиции, например. В торговле, например.

Считаю требование правильным, хоть и неточно записанным. Надо было: считать профессиональным показателем, ибо многих пугает юридическое понятие профнепригодности. Речь идет не о том, чтобы с определенного дня установить непроходимый барьер обязательного двуязычия при приеме на работу в эти отрасли. Это просто невозможно из-за нехватки кадров. Речь идет о стимуляции паритетного двуязычия в сферах обслуживания и торговле как наиболее удобной формы, чего никто отрицать не станет. Речь идет о том, что, естественно, лучше иметь на определенных работах человека с двумя языками, нежели с одним, как наиболее бесконфликтную форму. Никто не определял способов стимуляции. Но в целом вопрос следует ставить так: сделать двуязычие выгодным. Учитывать это обстоятельство при выборе профессии. Уделить больше внимания изучению второго языка в школах. Обеспечить учебными пособиями любого желающего. Не вводить это декретно и с такого-то числа, то есть дать время. Наконец, хотеть изучать второй язык. Между прочим, это единственный путь к пониманию латышской истории и культуры — изучать язык. Это путь к участию в общественных процессах республики, от которых, если говорить строго, русскоязычное население Латвии находится в стороне. В пассиве.

Потому ли, что в русских школах из рук вон плохо преподают историю Латвии, потому ли, что вместо действительных событий и оценок прошлого мы глотали таблетки, сфабрикованные провизорами от официальной исторической науки, потому ли, что мы сами не пытались преодолеть лень ума и души и не внедрялись в латышскую хронику, а более всего потому, что мы в массе своей не знаем латышского языка и не читаем латышскую периодику, не слушаем латышского радио, не смотрим латышское телевидение, не участвуем в национальных дискуссиях, мы, русские, живущие здесь, оторвались от того, чем сегодня живет латышский народ. У нас уже разные температуры тела — у нас все те же 36,6, а у них 40°. Они уже кипят. Должны мы это понимать, если хотим иметь реальное представление о реальных процессах?

Дело доходит до смешного: не рабочие и крестьяне, а преподаватели вуза на своем собрании продолжают на русском рассказывать друг другу небылицы и официальные легенды о прошлом Латвии, хотя вокруг на латышском давно оперируют только фактами.

Дело доходит до трагикомического. Не приехавшие вчера в республику школьники, а журналисты русских газет, родившиеся и выросшие здесь, не приходят на собрание представителей прессы по крайне острому вопросу, поскольку... их не пригласили официально и поскольку... собрание идет по-латышски! Никто никого на это собрание приглашать не должен. Нужно иметь собственную отзывчивость на болевые точки. Нужно носом чуять, чем живет республика. И что за препятствие — по-латышски! Ну если не случилось освоить язык самому, так попроси рядом сидящего переводить! Кто откажет? Тем более есть и прямой нормальный выход: актовый зал Дома печати оборудован системой радиоперевода. О ней просто забыли. Это в самом центре пропаганды и агитации — в Доме печати. Стоит ли говорить о сотнях и тысячах залов меньшей значимости! А как просто решилась бы целая цепь проблем реального двуязычия!

Есть профессии, в которых существует доплата за знание ино-

странного языка. Почему работник пароходства, даже не связанный с иностранцами, может получать за английский или немецкий, а латыш-врач за знание русского или русский врач за знание латышского получать доплату не может? Почему не заложить в бюджет ряда социальных сфер расходы на реальное двуязычие? Эти затраты окупятся взаимопониманием и бесконфликтностью. Взаимоуважением. Дружбой в конце концов.

И все же самое главное не в сторонних технических или материальных факторах, а в каждом из нас. В нашей склонности к пониманию реальностей или в нашем несгибаемом наплевательстве. В нашем русском «перемелется», «прорвемся».

Известно, что макси-народы одноязычны. Американцы не знают никакого другого языка. И не хотят знать. Китайцы (естественно, китайцы Китая) знают только китайский. И не хотят знать другого. Русские в массе своей обходятся русским. Но нам с вами эти высокомерные традиции не подходят. У нас иные условия. Мы — русские в Латвии. У нас как бы двойное «гражданство». Мы — и пришедшие сюда по воле центрального ведомства, и родившиеся здесь — несем в себе двойной ген — своего народа и национальной территории со всеми ее особенностями. И мы должны учитывать эти особенности. Еще мы несем на себе двойную ответственность — за себя здесь и за свой народ там, ибо по нашей отзывчивости и восприимчивости, по нашей культуре судят о культуре нашего народа в целом. Следует ли нам, не вчитавшись в букву и дух болевого документа, большинство пунктов которого ратует и о нашем благе вырывать из него клочки с национально-охранительной программой и тут же прикидывать, как это, не дай бог, скажется на нас.

Владимир НАБОКОВ

ИСТРЕБЛЕНИЕ ТИРАНОВ

1

Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключения в тюрьму, еще позже — изгнания на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь наконец только его смерть могла бы меня утолить.

Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод (напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества); но я предвижу и полное свое затмение.

Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране), выходили на первых порах как бы расплывчатыми,— это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности не устоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и щекн на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения,— и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гни-

От редакции

«Истребление тиранов» было уже набрано, когда вышел еженедельник «Книжное обозрение» с тем же рассказом. Тем не менее мы решили не отказываться от публикации, поскольку Набоков был объявлен в шестом номере нашего журнала.

лого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство, утвердился, теперь знакомый всем, каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков, и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, толстая морщина через весь лоб,— жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которое я когда-то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову. И очки,— куда делись очки, которые он носил юношей?

2

Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю, кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, независящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки: убить его.

3

Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена; напротив — в очаровании человечности, обвевающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором — когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать — и применить.

Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно и почему случается, что кровь с него сходит как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение и вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзительным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления,— между тем как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обусловившая мое к нему невнимание,— обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь в нужде в меблированных комнатах,— однако всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него,

как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаредности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.

4

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и все, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды им брошенный (в свальную яму глупости) лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть, ибо, разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой и насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого, так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность его, которую я один из немногих хорошо знал. Другими словами, все кругом принимало его облик, закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности; в школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях и в книгах подобострастных беллетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный труизм или плоское от избитости общее место), та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким, как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И наконец закон, им поставленный,— неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.

5

Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности (давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию) в последние годы своей короткой жизни: утонул двадцати трех лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это — блестящая

поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую, — все, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не будет. О ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых людей, завлекшим моего брата; мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а что просто набралось несколько юношей, во многом различных, временно и накрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям; но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее чудовище.

Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома: он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака, и лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло брезгливо плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив. Коротко остриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб,— еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны, что больно было за перетянутые подушечки на кончиках отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах.

Когда брат мой является (а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда входит впопыхах, точно страшно торопясь жить и все равно не поспевая,— и вот жизнь, наконец, ушла без него), он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой подавая руку; казалось, что если вовремя не схватить ее, она с пружинным звуком уйдет обратно в пристяжную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, — но зато демонстративно подавал руку кухарке, которая, взятая врасплох и не успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме, отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой относился ко всем и ко всему, к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже, кажется, к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались «чудака» (вот уж никаким чудаком он не был), как, впрочем, побаивались они и остальных гришиных товарищей.

Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием,— вот только это знаменитое гнусное задыханьице его в конце фразы уже было, было... Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно коротконогим, вероятно вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер,— и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы, угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория, но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была

не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем.

Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно отрывистый разговор с братом; или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные совиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде чем его проглотить, и баранку он кусал осторожно, кривя рот,— зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом, а также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части,— отвечал он, грубо конфузясь,— эрго я свое зубье поборю»; но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали как изречение оригинала... да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же животная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием; но вот подите же — он поражал бездарностью, как другие поражают талантом.

6

Иногда его природная унылость сменялась судорогами какого-то дурного, зазубристого веселья, и тогда я слышал его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль кошки, к бархатной тишине которой так привыкаешь, что ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и выяснялось, что руки у него слабые, а зато ноги — железные. И однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде, буро-красный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней, тяжелая коса и чернильно-синие глаза которой многим так нравились, что ей охотно прощалось сходство с черным шахматным коньком.

Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживания от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница и уводит с его пути опасных свидетелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал либо нравоучительно, с популярно-научными экскурсиями в историю (о которой знал из брошюр), либо темно и жидко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной, женщину (тоже, кажется, с каким-то физическим недостатком), с которой одно время делил кров и кровать в мрачнейшей части города... много я дал бы теперь, чтобы разыскать, расспросить эту неизвестную, но, верно, и она безопасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их пакостная тягучесть, он намекал на козни таинственных врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки которого вычитал в календаре... если б можно было воскресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них ни одного выражения (не очень это меня интересовало тогда, хотя я слушал и смеялся) и только смутно-смутно вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быструю, смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую письмо, и еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха.

7

Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению — разница глубокая, роковая; однако ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и его железной жаждой. Через месяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции (кружок зачах и распался, причем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политики не вышел), и скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот совершенно противный всему, что говорилось, думалось,

чаялось в той первой юношеской среде. Вот я вспоминаю его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил, запрятывая концы под мебель, когда садился, и странно путая отражения лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наше черное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его, но во всяком случае брату и другим импонировали и мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое, яркое ядро. Что таить,— мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей,— и действительно, панель перед мясными всегда мокрая.

8

В первые дни после гибели брата он все попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это нисколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, то есть всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровое соболезнование, соболезнование, видите ли, замкнутого, мужественного человека, который и незаметен и неотлучен (недвижимое имущество сострадания) и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле, среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это был страшный обман: если и тянуло его к нам в гости, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния,— когда на столе стоит неубранная посуда и некурящие просят папирос.

Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть (в которой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты) старается подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то, должно быть, сказал мне: «Вот он с тобой пойдет»; он и пошел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то (мы шли пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и наваленных досок) я сделал кое-что, воспоминание о чем во мне проходит от темени до пят электрической судорогой нестерпимого стыда: побуждаемый бог весть каким чувством,— не столько, может быть, благодарностью за сострадание, сколько сострадание же к состраданию чужому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения души на ходу взял и сжал его руку,— и мы оба одновременно слегка оступились; все это длилось мгновение,— но если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки. И вот через двадцать пять лет я думаю: мы ведь шли вдвоем пустынными местами, и у меня был в кармане гришин револьвер, который не помню по каким соображениям я все собирался спрятать; ведь я мог его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ничего, ничего из того, что есть сейчас, ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных портретов, ничего... О если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане штанов, человека, шедшего со мной рядом!

9

Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок (ибо этот тиран называет себя «пленником воли народа, избравшего его»), — расстояние почти невообразимое. Некто мне рассказывал, запершись со мной в погребе, про свою дальнюю родственницу, старуху-вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посему удостоилась высочайшего приема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов и, с почтительными поклонами пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами она искала его среди них; они же смотрели не на нее, а поверх ее головы, и, обернувшись, она увидела, что сзади, через другую дверь, ею незамеченную, бесшумно вошел сам и, остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рассказать о ее подвиге (тут же был принесен служителем и положен на второй стул глиняный слепок с ее овоща), и она в продолжение десяти незабвенных минут рассказывала, как репу посадила, как тащила ее из земли и все не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покойного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдыхавших на сеновале, и как наконец, цугом пятясь, чудовище вытащили. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом: «Вот это поэзия,— резко обратился он к своим приближенным,— вот бы у кого господам поэтам учиться»,— и, сердито велев слепок отлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не ращу, так что проникнуть к нему мне невозможно, да и если бы проник, как бы я донес заветное оружие до его логова?

Иногда он является народу,— и хотя не подпускают к нему близко и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража (не говоря о соглядатаях и соглядающих соглядатаев), очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку, сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю судьбы для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита, но все это зря, и недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расползающегося в руке пистолета, а пули одна за другой выпадают из ствола или как безвредный горох отскакивают от груди усмехающегося врага, который между тем не торопясь начинает меня сдавливать за ребра.

10

Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было даже заметить неопределенное между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий — портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь,— но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы! Один шил для него платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а все же бокастого тела со странными, женскими бедрами и круглой спиной; значит — трогал его, почтительно лез под мышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золотым плющом; второй и третий проникли еще дальше: видели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по ритму которого у нас, говорят, скоро будут поставлены часы, то есть в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени; четвертый

его брил, с шорохом водя вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для меня соблазнительным лезвием; пятый наконец пек для него хлеб — по привычке, по глупости кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций; мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует... Все было очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное, чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я сразу проснулся — в моей нищей комнате, с нищей луной в незанавешенном окне.

Все же я признателен ночи и за такой сон: последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярной из пыток, применяемых к нынешним преступникам. Я пишу «нынешним», потому что с тех пор как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников (других, уголовных, собственно, и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнокрадство, которое в свою очередь рассматривается как попытка подточить существующий строй), изысканно слабых, с прозрачнейшей кожей и лучистыми глазами навыкате. Это порода редкая и высоко ценимая, как живой окапи или мельчайший вид лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого труда или опасности в охоте нет, — они совсем ручные, эти странные прозрачные звери.

Пугливая молва утверждает, что он сам не прочь посетить застенок... но это едва ли так: министр почт не штемпелюет писем, а морской — не плещется в волнах. Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на особый вид простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о черте, в балаганный смех наряжая суеверный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдоты (восходящие к каким-то древним ирландским образцам) или за кулисный факт из достоверного источника (кто в фаворе и кто нет, например) всегда отдают лакейской. Но бывает и того хуже: когда мой знакомый N., у которого всего три года тому назад казнили родителей (не говоря о позорных гонениях, которым сам N. подвергся), замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его: «а все-таки, знаете, в этом человеке есть какая-то мощь!» — мне хочется заехать N. в морду.

11

В своих «закатных» письмах великий иностранный художник говорит о том, что ко всему остыл, во всем разуверился, все разлюбил, все — кроме одного. Это одно — живой романтический трепет, до сих пор его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни, со снежным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первоначальная безвестность, те потемки поэзии и печали, в которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионами малых сил, его теперь притягивают, возбуждая в нем волнение и благодарность — судьбе, промыслу, а также собственной творческой воле. Посещение мест, где он бедствовал когда-то, встречи с ничем незамечательными стариками-сверстниками полны для него такого сложного очарования, что изучения всех подробностей этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа.

И вот, когда я представляю себе, что́ наш траурный правитель чувствует, соприкасаясь со своим прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт, а во-вторых, что он, наш правитель, воплощенное отрицание поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что повечернее, знающие, как просто мираж превращается в тираж,

любят отмечать легендарность его судьбы, вводя толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье (бедняки очень много стирают), и тут же печатается бог весть как добытая фотография его родительницы (отец неизвестен), коренастой женщины с челкой, с широким носом, служившей в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юности осталось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно (меня, увы, не спросил никто), что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или как юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трактуются как стихия судьбы — и, разумеется, много уделяется внимания тому темному зимнему дню, когда, выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал (после чего армия, блея, немедленно перешла на его сторону).

Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда, в этом оттенке журналист не ошибся, легенда замкнутая и обособленная (то есть готовая зажить своей, островной, жизнью), и заменить ее настоящей правдой уже невозможно, хотя ее герой еще жив; невозможно, ибо он, единственный кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он непомнящий. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанные книги, помнит, как в детстве кабатчик напоил его пивом с водкой, или как выдрал за то, что он упал с верха поленницы и задавил двух цыплят, то есть какая-то грубая механика памяти в нем все-таки работает, но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний, с тем что составленному образу будет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть, слепой и глухой карла, неспособный ни на какое бессмертие.

Посети он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его былое жилище! Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился и где теперь музей его имени (старые плакаты, черный от уличной грязи флаг и — на почетном месте, под стеклянным колпаком — пуговица: все, что удалось сберечь от его скупой юности), а те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете (он-то ведь забыл эту свою стоянку — их было так много) знаю, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогающий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни.

12

Сейчас у меня был еще гость: весьма потрепанный старик, который, видимо, находился в состоянии сильнейшего возбуждения, — обтянутые глянцевитой кожей руки дрожали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век, бледная череда непроизвольных выражений от глуповатой улыбки до кривой морщины страдания бежала по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги цифру знаменательного года, с которого прошло почти полстолетия, и число, месяц — дату рождения правителя. Он поглядел на меня, приподняв перо, как бы не решаясь продолжать, или только оттеняя запинкой поразительное коленце, которое сейчас выкинет. Я ответил поощрительно нетерпеливым кивком, и тогда он написал другую дату, на девять месяцев раньше первой, подчеркнул двойной чертой, разомкнул было губы для торжествующего смеха, но вместо этого закрыл вдруг лицо руками... «К делу, к делу, — сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и, быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул мне толстую твердую фотографию, приобретшую с годами тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой человек в солдатской форме; фуражка его лежала на стуле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью опустил руку, и

на заднем фоне можно было различить бутафорскую балюстраду, урну. При помощи двух-трех соединительных взглядов я убедился, что между чертами моего гостя и бестенным, плоским лицом солдата (украшенным усиками, а сверху сдавленным ежом, от которого лоб казался меньше) сходства немного, но что все-таки это несомненно один и тот же человек. На снимке ему было лет двадцать, снимку же было теперь под пятьдесят, и без труда можно было заполнить этот пробел времени банальной историей одной из тех третьесортных жизней, знаки которых читаешь (с мучительным чувством превосходства, иногда ложного) на лицах старых торговцев тряпьем, сторожей городских скверов, озлобленных инвалидов. Мне захотелось выспросить у него, каково ему жить с этой тайной, каково нести тяжесть чудовищного отцовства, видеть и слышать ежеминутное всенародное присутствие своего отпрыска... но тут я заметил, что сквозь его грудь просвечивает безвыходный узор обоев,— я протянул руку, чтобы гостя задержать, но он растаял, по-старчески дрожа от холода исчезновения.

И все же он существует, этот отец (или еще недавно существовал), и если только судьба не дала ему спасительного неведения относительно имени его минутной подруги, господи, какая мука блуждает среди нас, не смеющая сказаться,— и, может быть, еще потому особенно острая, что у этого несчастнейшего человека нет полной уверенности в своем отцовстве,— ведь баба-то была гулящая, вследствие чего таких, как он, живет, может быть, на свете несколько, без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избыточных цифр и недостаточного воспоминания, подло мечтающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся немедленной кары (за ошибку, за кощунство, за чересчур паскудную правду), в тайне тайн гордящихся (все-таки мощь!), сходящих с ума от своих выкладок и догадок... ужасно, ужасно...

13

Время идет, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет: я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да и не боюсь нисколько гибельных для меня последствий покушения,— напротив,— вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом,— человеческий вихрь, хватающий меня, полишинелевую отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов — и затем (коли выйду жив из этого вихря) железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок, плаху,— и все это под громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение, я даже допускаю усиление гнета по инерции... Во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и попраны во мне и вне меня, а если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше; если же нет и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое все-таки сделаю.

Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной, а тошноты и черноты смертных мук я не боюсь, тем более, что чаю такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, которая не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом, ум мой ясен и рука свободна... а все-таки не знаю, не знаю, как его убить.

Уж я думал: не потому ли это так, что убийство, намерение убить, нестерпимо, в сущности пошло, и воображение, перебирающее способы и род оружия, производит работу унизительную, фальшь которой тем более чувствуешь, чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще: может быть, я не мог бы его убить из гадливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде, оттого что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я ни

подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно скрывать от себя, что я должен его истребить, и что я его истреблю, — о Гамлет, о лунный олух...

14

Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы и даже класиться,— не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как «осколки стекла», «речные праги» или: «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав».

В течение двух часов гремел по нашему городу громадный голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна, так что ежели идти по улице (что, впрочем, почитается опасной неучтивостью,— сиди и слушай), получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и, снова взмыв, клюет в темя,— квохтанье, карканье кряк, карикатура на человеческое слово, и некуда от Голоса скрыться, и то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селении моей благополучно оглушенной родины. Никто, кроме меня, кажется, не заметил интересной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, которые он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присущем пьяным независимом, но неудовлетворенном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, причем поминутно останавливается, чтобы набраться сил, обдумать следующий период, дать слушателям вникнуть,— и паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное, таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль.

Когда наконец он иссяк, и безликие, бесцекие трубачи сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал облегчения, а напротив, почувствовал тоску, страх, утрату; покамест он говорил, я по крайней мере караулил его, знал, где он и что делает, а теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором уже нет ощутимого средоточия.

Я понимаю гладковолосых женщин наших горных племен, когда, будучи покинуты любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев булавкой с бирюзовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному истуканчику, изображающему беглеца. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгновение, когда ритм уловлю, и он в своем дальнем замке падет замертво, но и при всяком другом виде тираноубийства я бы не остался цел. Поутру проснувшись, этак в половине девятого, я силюсь представить себе его пробуждение — он встает не рано и не поздно, а в средний час, точно так же, как чуть ли не официально именует себя «средним человеком». В девять я, как и он, удовлетворяюсь стаканом молока и сладкой булочкой, и если в данный день у меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыслями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их вместе с ним, ища, что может остановить его внимание, хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне было известно общее содержание сегодняшней газеты, ее главные статьи, сводки и отчеты, так что никаких особенных поводов для государственного раздумья это чтение не может ему дать. Затем к нему приходят с докладами и вопросами его помощники. Вместе с ним я узнаю, как поживает железнодорожный транспорт, как потеется тяжелой промышленности и сколько центнеров с гектара дала в этом году озимая пшеница. Разобрав несколько прошений о помиловании и

начертав на них неизменный отказ, карандашный крест,— знак своей сердечной неграмотности,— он до второго завтрака совершает обычную прогулку: как у многих ограниченных, лишенных воображения людей, ходьба любимое его физическое упражнение, а гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения крамолы. Днем мы осматриваем новое здание, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой форточки. Обед, обыкновенно парадный с участием должностных лиц, я пропускаю, но зато к ночи сила моей мысли удваивается, я отдаю вместе с ним приказания газетным редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и все безумнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадет с его мыслью,— и тогда, я знаю, мост лопнет как струна. Но невезение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует меня, карта все не выходит, хотя какую-то тайную связь я все-таки, должно быть, с ним наладил, ибо часов в одиннадцать, когда он ложится спать, я всем своим существом ощущаю провал, пустоту, печальное облегчение и слабость. Он засыпает, он засыпает, и так как на его арестантском ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я получаю отпуск, и только изредка, уже без всякой надежды на успех, стараюсь сложить его сны, комбинируя обрывки его прошлого с впечатлениями настоящего, но, вероятно, он снов не видит, и я работаю зря, и никогда, никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить: диктатор умер во сне.

15

Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников все яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом — его лучшим портретом быть может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя?

16

И вот я понял, что есть у меня способ! Было морозное неподвижное утро, с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб; стояла всюду гибельная тишина: через час город проснется — и как проснется! В тот день праздновалось его пятидесятилетие, и уже люди выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, чтобы вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шествия. Рискуя потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь,— другое, поважнее, занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на перекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я, я один, все это могу пресечь. Да, выход был найден: убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над окном, должно быть служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я не был уверен в действенности двадцать пять лет пролежавшего патрона.

Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания, все сокровища, собранные мною. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая эти мои записи... И вдруг невероятное напряжение чувств, одо-

левавшее меня, подверглось странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обращало синие сугробы в искристый пух, над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюг и национальные костюмы здоровенных девок — все это на меня нахлынуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех перед нашим великим, милостивым Господином. Не он ли удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищие, не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты Хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного строя, быта, дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки,— смею, таким образом, покушаться на жизнь одного из его подданных! Праздник, как я уже говорил, разгорался, и, весь мокрый от слез и смеха, я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, которые декламировал по радио чудный актерский голос, с баритональной игрой в каждой складочке:

Хорошо-с,— а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,
ни баклажанов, ни брюкв . . .
Так и песня, что днесь у нас
крепнет,
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропиной исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы!

Пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!

Да, сияя, да, грибы, да, удивительной,— правильно . . . я маленький, я, бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня — или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя милость, а милость — казнь, озаряющая мучительным, благостным светом все мое беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя! Великолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно,— и так далее, и так далее, и так далее.

17

Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как на ладони смешное. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого «лопнул в горле нарыв при виде уморительных трюков пуделя». Перечитывая свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным,— и казнил его именно этим — старым испытанным способом. Как ни скромен я сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, однако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным. Далекий от литературных затей, но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, я взял искренностью и насыщенностью чувств там, где другой взял бы мастерством да вымыслом. Это есть заклятье, заговор, так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо. Верю в то, что каким-то образом, мне неизвестным, эти записи дойдут до людей, не сегодня и не завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет денек досуга, чтоб заняться раскопками,— накануне ноных неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот, как знать . . . допускаю мысль, что мой

случайный труд окажется бессмертным и будет сопутствовать векам,— то гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полезный. Я же, «тень без костей», буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека.

Берлин, 1936 г.

* * *

«Портреты главы государства не должны размером превышать почтовую марку», — сказал Набоков в одном из интервью. Преследовавшее многих художников нашего века наваждение, соблазн диалога с тираном Набоков изживал стихами. Этой теме посвящено его стихотворение 1944 года «О правителях»:

Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа, —
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.
С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе!
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины!

В этом стихотворении слышны и отголоски рассказа «Истребление тиранов»:

Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навыкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.
Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.
Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску
и в клетку на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил»
и так далее.

Здесь в перезвякивании рифм на Сталина и Черчилля возникает теневой портрет тезки Набокова — Владимира Владимировича Маяковского, как

раньше он проглядывался в пародийной оде из «Истребления тиранов». Эта ода начинается с того же каламбура, который уколол автора поэмы «Хорошо» в эпиграмме Юрия Тынянова:

Оставил Пушкин оду «Вольность»,
А Гоголь натянул нам «Нос»,
Тургенев написал довольно,
А Маяковский — «Хорошо-с».

Еще раз Набоков испробовал перо пародиста, когда в 1937 году сочинял гротескный мадригал в стиле постоянно вышучиваемой им Марины Цветаевой:

Иосиф Красный, — н е Иосиф
прекрасный: препре-
красный, — взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь
горный! В ы ш е гор! Лучше ста Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин!

Владимир Набоков истреблял тиранов смехом, иронией и пародией. Но, конечно, он отдавал себе отчет в том, что наш век дал и примеры другого противостояния кровавой банальности. В одном из поздних интервью он говорил о Мандельштаме: «Стихи, которые он продолжал героически писать . . . — это достойные восторга образцы человеческого духа в его самых глубоких и самых возвышенных проявлениях . . . Тираны и пыточных дел мастера никогда не скроют свою комическую косолапость за своей космической акробатикой. Презрительный смех — это прекрасно; но он приносит всего лишь ничтожное моральное удовлетворение. Когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при проклятом режиме его палачей, я испытываю чувство беспомощного стыда при виде себя самого, пользующегося свободой жить, думать, писать и говорить в свободной части нашего мира. Это единственные моменты, когда свобода горька».

Р. ТИМЕНЧИК

НЕИЗВЕСТНОЕ ИМЯ

Латышский писатель Валентин Якобсонс, биография которого столь же сложна и трагична, сколь биография его народа, принес нам этим летом самиздатовскую тетрадку стихов с незнакомой никому фамилией автора — Тарновского под названием «Заполярные стихи» Датировано было самоличное издание 1949—1955 годами. С этим человеком, Юлианом Константиновичем Тарновским, Валентин Якобсонс отбывал незаслуженное свое наказание в северной империи ГУЛАГа. Прося посмотреть сборничек. Якобсонс добавил лишь, что до сталинского заполярья Тарновский никогда не занимался поэзией, хотя знал ее, а был, как он понял, разведчиком и лишь в поисках спасения ума и души сблизился с сидевшим там же крупным латышским поэтом Янисом Меденисом и брал у него уроки.

Надо сказать, жизнь дарит редкие и удивительные истории ученик оказался усердный. Поразительно и другое: казалось бы свинцовые мерзости быта зэка должны были дать ему весь безысходный материал для его поэтических опытов. Ничего подобного. Необузданное стремление к высоким поэтическим формам и общечеловеческим ценностям, философия духа и торжество жизненных сил! Особо ли текущее в зоне время, высокие ли уроки классики Меденисса, собственная ли природная задумчивость о смысле бытия, старые ли классические образцы высокой поэзии, впитанные в юности из уходящей культуры — неизвестно, что больше повлияло на зэка-школяра, но так или иначе Тарновский в своих сонетах и триолетах, рондо и ронделях, балладах, александрийском стихе предстает перед нами чистым певцом прекрасного и грустного мира людей.

Хотелось увидеть его лицо, хотелось узнать о нем хотя бы что-то С помощью Якобсонса мы разыскали его вдову и немедленно получили от нее коротенькое письмо со скудными сведениями о Юлиане Константиновиче. Вот оно полностью:

«Посылаю вам две фотографии — на выбор.

Юлиан Константинович Тарновский родился в 1912 г. 21 июня в г Москве Умер в 1970 г. 13 сентября.

Самым большим, страстным увлечением его молодости были лошади, позднее — собаки, которых он любил, может быть, больше, чем людей. Но он очень хорошо разбирался в людях. И достойных людей, и тех, кто были его друзьями, любил и уважал Человек он был сложный, трудный, противоречивый, нетерпимый. К сожалению, в юношеские годы обожал Сталина

В 1948 г. был репрессирован. Многое понял и переоценил. Его отношение к Сталину можно судить по его стихам — «Реквием», «Ненависть» и другим. Мне очень интересно, что вы отобрали из его стихов к печати? Конечно, он был бы счастлив дожить до настоящего времени и увидеть свои стихи на-

печатанными. В чем Твардовский был вынужден ему деликатно отказать. Хочу надеяться, что буду иметь экземпляр журнала, где будут напечатаны его стихи. С уважением, Е. С. Тарновская».

Спасибо, дорогая Е. С.

Немного. Очень немного о целой жизни, странной и трагичной. Много вопросов, тайны, интереса к человеку, распрямившемуся в клетке.

Полагая, что такой же интерес возникнет и у читателей, мы решили дать за стихами Тарновского мемуары Валентина Якобсонса.

В строгом смысле они написаны не о Тарновском. Юлиан Константинович в них — один из равных персонажей — таких, как Меденис, Готтзелих, Калацис, Лев, Гельмут, Шипов, сам Якобсонс. Но все-таки из этих воспоминаний очевидца мы можем почерпнуть некоторые сведения о человеке, о котором мы не знаем ничего. Все-таки Якобсонс дружил с ним в зоне и продолжал общаться после освобождения до самой гибели Тарновского. И Якобсонсу, а не кому-нибудь другому, Тарновский подарил свою рукописную книгу.

Юлиан **ТАРНОВСКИЙ**

ЗАПОЛЯРНЫЕ СТИХИ

ЗООСАД

Я поклясться могу, никогда
(Коль солгу, то сгорю от стыда)
Ни за что не пойду в зоосад.

Много лет сам я в клетке сидел,
Прежде времени в ней поседел.
Клетка — хуже, чем дантовский ад.

Неужели я мог бы теперь
Любоваться спокойно, как зверь
По вольеру, гонимый тоской,

Пробежит, повернется, пойдет
Взад-вперед, и опять — взад-вперед
От зари до зари, день-деньской.

Я по камере сам так шагал,
Словно пойманный волк иль шакал.
Я заглядывал в щелку окна,

Чтоб по узкой полоске небес
Догадаться, что зелен уж лес,
Что уж в самом разгаре весна.

Сталь решетки — граница миров.
Не заполнит ничто этот ров.
Мне понятно, о чем говорят

Зверя пленного злые глаза.
Если вырвется эта гроза,
То навеки погаснет ваш взгляд.

РЕКВИЕМ

Как странно! Десять лет назад
Я жизнь свою отдать был рад
Тому, кто мертв лежит теперь.
А я живу — как в клетке зверь,
И, говоря сейчас о нем,
Обязан робко прятать взгляд,
Где ненависть горит огнем.

Пришел конец жестокой силе,
Которой слепо мы служили,
Когда, по молодости лет,
Еще глаза незрячи были.
За это дали мы ответ,
А он, причина наших бед,
Лежит в торжественной могиле.

И скорбный марш звучит нам сегидильей.

РАЗВЕДЧИК

На свете мир царит. Готовясь к бою
Живет весь мир. И только желтый флаг
Развернут над землей. Самой судьбою

Мне сказано: «Пускай всегда твой шаг
Неслышен будет, зорок глаз и уши
Пусть слышат то, что думает твой враг

И сколько армий держит он на суше,
И сколько у него заводов есть,
И отчего крестьян налогом душит.

Ты должен страх забыть, и стыд, и честь,
Привыкнуть лгать спокойно, не краснея,
На языке нося обман и лесть.

Не забывай закон: «Всегда глупее
Кажися, чем ты есть; и глупый вид,
Быть может, голову тебе на шее,

Коль от роду ты счастлив, сохранит.
Когда придет война, то ты мундира
Носить не будешь. Там, где бой шумит,

Тебе не место. Ты, как голубь мира,
В страну врага на крыльях полетишь,
Чтоб дом его взорвать во время пира.

Запомни: все тебя забудут, лишь
Ты схвачен будешь. И не жди награды
За верность и за преданность. Шалишь!

Коли споткнешься ты — свои же будут рады.
Те, за кого ты рисковал собой,
Расправятся с тобою без пощады,

Как с выжатой лимонной кожурой».

АКРОСТИХ

Я встретил Вас уж пару лет назад,
На севере. Осенней темной ночью.
И помнится, на небесах каскад
Сияния горел; как бы воочью
Увидели мы звезд упавших град.

Мне дружба Ваша многое дала.
Ей я обязан техникой писанья.
Дорога мне теперь не тяжела.
Едва ли я без Вас бы смог решиться
Начать стихами покрывать страницы
И поисками рифм и звучных слов
Свой тешить ум, обдумывать желанья,
Украсив жизнь отрадным ритмом строф.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ СТИХИ

Янису Меденису

Мой милый друг! Сегодня я ликую.
Добился своего! Счастлив и торжествую.
Она — шутя, дразня, не шла все в руки мне.
Я начал бредить ей, как днем, так и во сне.
Порой стал засыпать, о ней одной мечтая,
Сонетов не писал, от нетерпенья тая.
Страдал, как и всегда, когда бывал влюблен.
И наконец-то был роскошно награжден.

А Вы, мой милый друг, вели себя, как сводня,
Что масло льет в огонь. Благодарю сегодня
Я Вас за то весьма. Она уже сдалась;
Послушною строкой покорно улеглась.
Я счастлив так сейчас, как будто впал я в детство,
Увидев, что отказ ее — одно кокетство,
И что, хоть не дожил еще я до седин,
Балладу написал за номером один.

ВИЛАНЕЛЛА

Вы мне тихо прошептали,
Улыбаясь, пару слов,
Что навек меня связали:

«Вы забудете едва ли
Аромат моих духов», —
Вы мне тихо прошептали.

Нет металла крепче стали,
Нет приятней тех оков,
Что навек меня связали.

В теплый вечер, в темном зале,
В царстве звуков, светлых снов,
Вы мне тихо прошептали,
Что навек меня связали.

РОЗА 2

Недаром с самой звонкой птицей,
Поющей летом у ручьев и рек,
Тебя привычно славит человек,
Как красоту, что может только сниться.

Твои листки — как Библии страницы,
А лепестки — нежней любимых век.
Уж сколько раз сменялся веком век,
А ты была и есть — цветов царица.

Тебя воспел в стихах своих Ронсар,
И ты пленила Гумилева зрелость.
Покажется, наверно, бледным дар,

Что принести тебе возьму я смелость,
Решившись посвятить цветку сонет
В таком краю, где роз в помине нет.

ТЕРЦИНЫ

СКОРПИОН

С хвостом членистым и смертельным жалом
Живет в песках горячих скорпион.
Бесстрашен дух в невзрачном теле малом.

Им принца Датского вопрос решен
Уже давно. Сомненья он не знает.
С врагом всегда готов схватиться он.

Но если враг далек и выжидает,
Пока над ним огня сомкнется круг,
То смерти ждать позором он считает,

Пока она сама придет как друг.
Сгореть живьем — ему противна доля,
И, хвост согнувши круче конских дуг,

Ценою жизни покупает волю

ТРИОЛЕТЫ

1

Урок нелегкий, триолет,
И в жар и в пот меня бросает.
Поверьте мне: сомненья нет,
Урок нелегкий — триолет.
От злобы я кляну весь свет.

Пусть верит тот, кто понимает:
Урок нелегкий, триолет,
И в жар и в пот меня бросает.

2

В суровом северном краю
Я о родных местах скучаю,
Хоть жил я не в земном раю.
В суровом северном краю
О солнце я мечту таю
И монотонно повторяю:
«В суровом северном краю
Я о родных местах скучаю».

РОНДЕЛИ

1

Так много радостных созвучий
И ярких сочетаний слов,
Что при писании стихов
Порою только выбор мучит.

Найти в огромной мертвой куче
Что нужно — и — рондель готов.
Так много радостных созвучий
И ярких сочетаний слов.

Когда ползут по небу тучи,
Приятно думать: мир не нов;
Бывало все в стране отцов,
Но все ж таит язык певучий,
Так много радостных созвучий.

2

Ее глаза сказали мне:
«Тебе я нынче очень рада».
Что ждет меня ее награда,
Мечтать не смел я и во сне.

Когда искали мы в вине
Вкус терпкий ягод винограда,
Ее глаза сказали мне:
«Тебе я нынче очень рада».

Про то, как свет горит в окне
И манит в дом войти из сада,
Как дорога его прохлада
Тому, кто обгорел в огне,
Ее глаза сказали мне.

РИМ

Рим... Вечный город... Пышные дворцы
Давно истлевших пап и кардиналов,
И церкви, и картины, чьи творцы
Вошли навек в истории анналы.

Я так давно желанием томим
Пройтись хоть раз, восторженно глазея,
По площадям и улицам твоим,
От Корсо до развалин Колизея.

Чтоб только раз, один счастливый раз
Они не сказкой мне, а былью стали.
Чтоб я узнал их взглядом жадных глаз,
А не из книг Золя или Стендаля.

Уж далеко те годы отошли,
Когда здесь била жизнь, блистали латы,
И цепь интриг плели для всей земли
Лукавые лиловые прелаты.

А солнце южное палит с утра,
Искрит в вине и накаляет камень
И блеск его на куполе Петра,
Как от меча архангельского пламень.

МАШКЕ

О славный род коней! Страницы старых книг
К нам донесли карьер классических квадриг.
Мы помним речь коней Ахилла перед Троей,
И славу лучшего эллинского героя
С ним Буцефал делил, заслуженно вполне.
А памятники взять: как царь — так на коне.

Какая красота, когда по ипподрому
Летит, как птица, конь. Народ в восторге ломит
Все на пути своем, чтоб к кассам подоспеть
И денежкам своим «прощай навеки» спеть.
Потом его ведут, покрытого попоной,
Овации, цветы... Не видно лишь короны.

А сам я как любил, взяв лошадь в шенкеля,
Писать в манеже ей галопом вензеля,
Иль прыгать через рвы, заборы и банкеты.
Что может лучше быть на нашем белом свете?
Вам не понять меня! Меня поймет лишь тот,
Кто знает хорошо, как пахнет конский пот.

И как скрипит седло, как бьет о ногу шашка,
И все же мне теперь дороже стала Машка
Всех лошадей других. Но Машка — кто она?
И чем и почему вдруг сделалась славна?
Она — славна? Ничуть! Рабочая кобыла
В совхозе, в Воркуте. Недавно это было:
Работала жена извозчиком на ней.
Они делили труд тяжелых, горьких дней,
Когда среди других таких же заключенных
Пришлось платить цену злодейств несовершенных.
От жизни и труда тяжелого устав,
Жена писала мне. Хвалила Машкин нрав,

Кляла свою судьбу, и я, в бессильной злобе,
Лишь представлял себе, как мучились там обе,
Не в силах им помочь. И хоть теперь прошла
Несчастья острота, воспоминанье зла
Тревожит душу мне, как будто дух нечистый,
И Машка для меня дороже всех дербисток.

NORILSK BALLAD

This is barbed wire. We are jailbirds
And what I say is no vain words.
We are pining in jails and in labor camps
Although we are no crooks or tramps

We are no gangsters and no racketeers,
No dirty war profiteers.
We are accused of High Treason,
But Lord! This isn't the real reason!

The real reason of our crime,
Believe me or not, is not worth a dime
The reason why we are in prison
Is just a matter of political season

Political season or political fachion
— This is something purely Russian
And that is why we are jailbirds,
And what I say is no vain words.

НОРИЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

(подстрочник)

Здесь колючая проволока.
Мы — тюремные пташки.
И в том, что я говорю, нет ни одного лживого слова.
Мы загнаны в тюрьмы и трудлагеря,
Хотя мы не воры и не бродяги.

Мы не гангстеры и не рекетиры,
Мы не грязные поджигатели войны.
Мы обвинены в Государственном преступлении.
Но, господи милостивый! Разве в этом причина!

Истинная причина наших преступлений,
Верьте мне или нет, не стоит и гроша.
Истинная причина, загнавшая нас в тюрьму,
Суть ее — в изменении политической погоды.

Политическая погода или политическая мода —
Это нечто чисто русское.
Вот почему мы стали тюремными пташками,
И в том, что я говорю, нет ни одного лживого слова.

Валентин ЯКОБСОНС

МЫ ТАК И НЕ ПЕРЕШЛИ НА «ТЫ»

Начну, пожалуй, с того, что для Норильского металлургического гиганта еще и в первые послевоенные годы немало техники и оборудования поставлялось Соединенными Штатами и Канадой. В те времена Норильск числился поселком, причем засекреченным и не должен был значиться ни на одной карте. Он и не значился. Но странным образом грузы в это несуществующее место доставлялись исправно. Впрочем, нас интересовала тара. Эту тару канадцы иногда сколачивали из толстых досок какой-то неизвестной аборигенам породы дерева. По цвету древесина напоминала копченую лососину, и читатели постарше могут представить себе, как выглядели эти нежно-розовые ящики. Местные умники вынесли приговор — американский клен. Пусть так, не в том соль. Из розовых дощечек можно было понаделать отменных трубок — вот что было существенно для зэков. Сноски к этому слову не даю. Уверен — современный образованный читатель, даже молодой, не сочтет его заимствованием из латыни, норвежского или какого-нибудь там загадочного языка, он доподлинно знает, что это за сокращение.

Любой заядлый курильщик скажет вам, что если у вас есть пачка махорки, то цигарку лучше всего скрутить из коричневой оберточной бумаги, дымок получается смачный. Хороша для этой цели и газетка. А вот бумага писчая, художественные произведения, различные бланки, пропагандистские брошюры и прочая макулатура на раскур употребляются при крайней нужде — бегают язычки пламени и смрад омерзительный. Но у рядового зэка мало шансов дорваться до газеты.

За буханочку хлеба слесарь электроцеха Готтзелих сделал мне четыре точеных эбонитовых чубука. Вдобавок пришлось выслушать его сетования на судьбу. «Я честный коммунист, — сказал он, — и сподвижник Тельмана». Вины, сказал он, никакой за ним нету и за что сидит — не знает. Нешто мне ему втолковывать. Сидел он за интербригаду. После того как с герильей все было кончено, ему следовало драпануть в Мексику вместе с другими фрицами. А он примчался к нам. Так вот... Старик Калацис вырезал четыре трубочные головки, розовые. Калацис в этом деле мастак, трубки удались на славу, элегантные, в английском стиле. За них я отдал ему свои новые валенки, получив взамен сильно поношенные. На одну изящную трубку положил глаз «каптенармус» вещевого склада Яша Роскош, одессит, которого во время войны три года морили в Бухенвальде. Теперь ему за свои грехи предстояло протрубить двадцать пять в ГУЛАГе. Заполучил он свою желанную трубку, а я — новые валенки, буханку хлеба впридачу и четыре пачки первосортной махорки «Белка». В итоге я оказался владельцем трех великолепных трубок.

100 000 зэков. Мы сами подсчитали на досуге, что столько, а может, чуть больше заключенных являют собой постоянный трудовой фонд Норильского никелевого комбината, фонд, именуемый «рабсилой». Силой рабов. Оприходованной «поштучно», с № такого-то по № такой-то, взятой на особо строгий учет. Если кто расставался с непосильной земной ношей, его живехонько увозили под Шмитову гору и там, под Шмитихой этой, зарывали в землю. Со своим личным номером на бирке, привязанной проволокой к окоченевшей ноге. Исправительно-трудовое заведение, так сказать, сдавало, а Шмитиха принимала страдальца. На веки вечные погребая в вечной мерзлоте. Могущественные фараоны могли бы ему позавидовать: случалось нам

выкапывать из глубоких котлованов мамонтовую свежатину возрастом в двадцать тысяч лет. И все это время в мрачных подземельях кто-то кого-то стриг наголо. Дошли до нас вести, что в Талнахе, близ Норильска, найдены богатые рудные залежи. Значит, вскоре штаты стригалей будут увеличены.

Одну из трех трубок я подарил Юлиану Константиновичу Тарновскому. Познакомились мы с ним в Красноярском пересыльном лагере. По странной прихоти приглянулись друг другу с первого рукопожатия, и эту крепкую между нами приязнь уже ничто не могло порушить.

В ГУЛАГе люди не задают лишних и дурацких вопросов. Не пытаются в ГУЛАГе узнать и прошлое другого человека. Невзначай оброненное словцо чревато иногда великими неприятностями. Поэтому максимум дозволительного — коротко осведомиться «за что?» — и получить госстандартный ответ. Тарновский ответил мне чуточку подробней: «О, за восхитительные связи с иностранцами!». Иными сведениями о его прошлом я тогда не располагал и не стремился. Попробую описать хотя бы облик Юлиана: ростом шесть футов два дюйма, широкоплеч, ноги стройные, талия узкая, руки длинные и тонкие. На свои руки он сердился — если доводилось ему на ринге нанести сопернику удар помощнее, ломалась лучевая кость. Лицо продолговатое, слегка скуластое, с тонкими чертами, которые вполне гармонировали с приплюснутым боксерским носом. Глаза серо-голубые, очень светлые, настолько прозрачные, что порой кажутся бесцветными. Губы тонкие. Стрижка короткая. Походка упругая, движения то медленные и плавные, то порывистые и угловатые. В жилах его текла польская, французская и русская кровь. Настоящий коктейль со всеми вытекающими отсюда последствиями. В нем всего было намешано. Искрящийся галльский дух уживался с унылым прагматизмом, лирические сантименты — с резкостью и грубостью. С его слов, он был превосходным пловцом и наездником, любил собак, лошадей и ухоженных умных женщин. Английским владел в совершенстве, французским — хорошо и немецким — сносно. Инженер по механизации строительных работ, он увлекался не столько скреперами, вибраторами и башенными кранами, сколько древней историей, добротной прозой и изысканной поэзией. Юлиан обладал отличною памятью, знал наизусть бесчисленное множество стихов и охотно мне их цитировал. Вечера поэзии вдвоем утоляли духовный голод, помогали сносить унижения, просветляли душу и укрепляли волю. Языком поэзии с нами говорили Цветаева и Ахматова, Мандельштам и Ходасевич, Киплинг, Бернс, Есенин, Гумилев и многие другие — желанные и нежеланные, запрещенные и забытые, живые и умершие. Чтобы ярче высветить характер Юлиана и его взгляды на жизнь, призову себе в помощь Гумилева:

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу
в стремя,
И обмануть медлительное время,
Всегда целуя новые уста.

А следующие строки, гляньте-ка, полный контраст предыдущим, но и они отвечают сути характера Юлиана:

Но роза, пронесенная в отель,
Забытая нарочно, в час прощанья,
На томике старинного изданья
Канцон, которые слагал Гюдель,

Ее ведь смею я почтить сонетом?
Мне книга скажет,
что любовь одна
В тринадцатом столетии,
как в этом,
Печальней смерти и пьяней вина.

Время от времени мы в разговоре переходили на французский или немецкий. Это как бы приподнимало нас над суровой обыденностью и появлялось ощущение маленького праздника; казалось, мы переоделись в чистое цивильное платье. Как-то Юлиан уговорил меня взяться за английский. Условия для этого были: мы с ним вкалывали в одной бригаде, ютились под одной крышей и наши нары стояли рядом, так что по вечерам

можно было уделить часок лингвистическим занятиям. Через десять дней бдительное всезнающее начальство упекло меня на два месяца в шизо — штрафной изолятор. За активную подготовку к побегу. Там, в компании товарищей по несчастью, уже сидел один эстонец-архитектор, который, как и я, тоже вел тщательнейшую подготовку к побегу за тридевять земель: на его рабочем месте, у кульмана, шпики обнаружили улику — точилку для карандашей, сделанную в виде глобуса величиной с грецкий орех.

Бывали, правда, и вечера повеселее. Особенно когда еретик Виктор Лев шпарил на память целыми главами из преданных анафеме книг Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», этой запрещенной антилитературы, в которой наш советский образ жизни был отражен до ужаса нетипично. Виктор — стройный, атлетического сложения парень с лицом римского патриция, инженер-механик, в ГОРЛАГе два года кряду проектировал дымоуловитель для труб медеплавильной печи. Работа, однако, продвигалась туго. И немудрено — ведь на воле он, так сказать, функционировал подобно героям ильф-петровских романов. Изображал типичного представителя нашего развитого пролетариата.

Бывало, накинет на себя брезентовую куртку, натянет кирзовые сапоги и — на трассу строящейся железной дороги: суетится, в нивелир глазеет, рабочих по местам расставляет. Группе любопытствующих иностранцев переводчик представляет его как бригадира. В другой раз в цеху подшипникового завода крутится в черной спецовке возле полуавтоматического токарного станка. Зарубежной делегации переводчик представляет Виктора как наладчика станков. А то на другом каком-нибудь заводе перед иностранцами квалифицированным слесарем выступает. И так далее. Жил Виктор один в красивой и уютной многокомнатной квартире в хорошем районе Москвы. Шикарная обстановка, рояль, ценные книги, дорогая посуда. А в шкафчике не переводилась отборная пшеничная водка, армянский коньяк, марочные грузинские и армянские вина. Ибо простому рабочему иногда приходилось приглашать на ужин желанных гостей из-за рубежа. На суареинтим. В типичной пролетарской среде. Пусть гости своими глазами увидят, как на самом деле живут советские рабочие и эту правду о нашей действительности увезут с собой в своем сердце. За связи с иностранцами Виктору впаяли двадцать пять лет. Перегнули палку — уже на четвертом году заключения его подкосил туберкулез и приняла в свое лоно родимая Шмитиха.

Поэта Яниса Меденица зэки пристроили на стройучастке. Работал он в ночную смену — в будке-конторе прораба Миши Гельмута поддерживал огонь в двух печурках да составлял калькуляции на различные строительные работы. И с тем и с другим делом поэт справлялся лихо, а если выпадала ночка посвободнее, то успевал и сонет сочинить. К сожалению, виделись мы с ним нечасто, так как работали, что называется, в разные смены. А в году начальство отпускало зэкам всего с десяток выходных. Разве что дикая стужа или буран дарили нам еще по выходному.

Когда Тарновский показал Меденису свои первые, написанные без тяжких раздумий стихи, мастер только ухмыльнулся. Юлиана это задело за живое, и он долго ходил мрачнее тучи. А через какое-то время с головой ушел в работу. Большой знаток формы, Меденис задавал Юлиану упражнения раз от раза все труднее, ставил перед ним все более сложные задачи. Юлиан трудился упорно, стиснув зубы. Отныне не было для него в жизни ничего важней, чем признание и похвала Яниса Меденица.

Как-то у поэта случилась неприятность — треснул мундштук, и я подарил ему одну из своих трубок. Но она чем-то его не устраивала и курил он ее редко. Кто знает, может дерево, из которого сделали головку этой трубки, вовсе не было американским кленом?

В шеренгу по пять ста-а-новись! Шеренгой по пять навстречу буре,

---

* ГОРЛАГ — государственный особого режима лагерь.

по сугробам, сквозь сугробы. Охранники кроют трехэтажным. Живей, живей, давай пошевеливайся! Шаг в сторону — стреляем без предупреждения! Собаки лают, лязгают зубами, рвутся с поводка, норовя вцепиться зэкам в ляжки, опрокинуть наземь эти пугала огородные, вгрызться в глотки! Солдаты с трудом их удерживают. Давай, давай! В стуже полярной ночи полчаса ожидания у ворот, пять километров пешедралом на работу. И пять километров с работы, полчаса ожидания у ворот вечером. Иногда ураганный ветер так силен, что сбивает с ног шеренгу за шеренгой.

...И кажется, в мире, как прежде,
есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах
живут великаны
И светят в прозрачной воде
жемчуга.

С деревьев стекают пахучие
смолы,
Узорные листья лепечут:
«Скорей,
Здесь реют червонного золота
пчелы,
Здесь розы краснее,
чем пурпур царей!»

И карлики с птицами спорят
за гнезда,
И нежен у девушек профиль
лица...
Как будто не все пересчитаны
звезды,
Как будто наш мир
не открыт до конца...

Я шагаю в строю и на ходу повторяю про себя эти строки. И вступаю в другой мир. Ноги больше не чувствуют усталости, желудок не ощущает голода, разум не испытывает унижения и в сердце глуше тоска по дому. Рядом со мной шагает Юлиан. Но он-то уж не твердит в уме Гумилева. И вообще чужих стихов. Он складывает и переставляет собственные строки.

Однажды вечером я отправляюсь в соседний барак, чтобы повидать Хария Скую. Этот парень тоже слагает вирши, и я первый их читатель. Видать, на севере в человеке просыпается зуд рифмоплетства. На обратном пути встречаю Адама Шипова, он приглашает меня на стакан чаю. Не могу удержаться от соблазна. Адам Львович — высокообразованный человек, тонкий ценитель литературы и искусства и блестящий собеседник. Шипов — это для форсу и представительности. На самом деле он Шапиро, бывший советский посол в Румынии. Поскольку свои двадцать пять заработал за связь с иностранцами. Нет, нет, в ГОРЛАГе сидят не только за этот грех! В ГОРЛАГе сидят власовцы и бендеровцы, полицаи, полицейские и начальники милицейские, испанцы и иранцы, англичане, французы, финны, китайцы, малайцы и гоминдановцы, легионеры, миссионеры и бывшие партийные функционеры. И прочая, и прочая, и прочая. Мало у кого десятка — этот расчудесный, детский-предетский срок.

Покалякали о том о сем, и вдруг Шипов меня спрашивает: а знаешь ли ты, что Тарновский разведчиком был? То есть НКВД — Не ведаю Когда Вернусь Домой. Нет, говорю, впервые слышу. Но эта справочка нисколько не влияет на мое отношение к Юлиану. Он как был, так и остался в моем представлении глубоко порядочным человеком.

После смерти отца народов в нашем ГОРЛАГе повеяло переменами. Из бараков убрали параши, с окон сняли решетки, и зэков больше не запирали на сорок запоров. С ватников, штанов и шапок велели посдирать номера, которыми каждый из нас был изукрашен что твой грузовик. В массовом порядке начался пересмотр дел, освободились первые зэки. Потом освобождение пошло вширь, и на заводах, рудниках, стройках стал ощущаться острый дефицит рабсилы. Заколесили по стране эмиссары, вербуя для построенного комсомолией города рабочие руки, на этот раз действительно комсомольцев. Один за другим закрывались лагеря. В ином невеликом из себя лагере, где в свое время командовал какой-нибудь старлей или капитан, теперь заправляли полковники с помощниками в чине майора и капитанами

в роли помощников тех помощников. Жизнь становилась сложнее.

Прошло совсем немного времени, и Тарновского реабилитировали, он возвратился в Москву. Его встречала жена, вернувшаяся не то из Карагандинского, не то из Тайшетского (точно не помню) лагеря, где бывшая балерина много лет была возчиком на подводе.

Настал и день моего освобождения.

Я часто раздумывал, в чем причина нашей духовной связи. Ведь нас никак нельзя было назвать равными. Тарновский был старше меня на десять лет — мужчина в зените жизни, пестрой, богатой событиями. И зеленый юнец, каковым я выглядел в сравнении с ним. Наши отношения носили очень своеобразный и деликатный характер. Мы делились друг с другом всем, что имели. Хлебом, табаком, мыслями, взглядами. Но так и не перешли на «ты».

...И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь,
как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,
Я вспоминаю,
что ненужный атом —
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину
братом.

Видно, Гумилев и тут дает верный ответ. Я был Вениамином, а он, Юлиан, одновременно и древним патриархом Иаковом, и могучим Иудой. Он был мне духовным отцом, и он был мне братом.

Однажды, в конце шестидесятых годов, приехав по делам в Москву, я навестил Тарновского, и мы проболтали с ним до глубокой ночи. Юлиан скупо пересказал мне еще ряд эпизодов своей биографии. В революцию и гражданскую войну он потерял родителей. Воспитывался в интернате, был пламенным комсомольцем, горячо верил каждому слову вождя и ради него был готов прошибить лбом стену. Потому-то и обучался в специальных заведениях. Когда в сорок первом немцы уже дергали за ручку дверей Москвы, Юлиана вызвал к себе Абакумов. Приказ: на случай падения столицы Тарновский остается в ней резидентом. Юлиан светился восторгом — еще бы, ведь с ним беседовал сам Абакумов, правая рука Берия. Впоследствии Тарновский работал по найму в американском посольстве — или консультантом по вопросам строительства или архивариусом. И за предосудительную связь с иностранцами...

В тот вечер Юлиан еще упомянул о каких-то своих разногласиях с органами. И сумрачно заметил, что уже давно презирает ведомство Ягоды — Ежова — Берия.

...Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою. Она пришла за мной.

Упаду. Смертельно затоскую.
Прошлое увижу наяву.
Кровь ручьем захлещет
на сухую,
Пыльную и мягкую траву.

И Господь воздаст мне
полной мерой
За недолгий мой и горький век...

И вот однажды Юлиан уехал за город, на дачу, и домой больше не вернулся. Спустя несколько дней жену официально известили, что он поскользнулся на сходнях станционной платформы, упал и расшибся насмерть. Поскользнулся и упал?..

Л. БРИЦЕ, С. МАКСИМОВ

«АНДЕРГРАУНД» ВЫХОДИТ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Сначала — несколько слов, без которых не обойтись, чтобы стали ясны течение разговора и позиции его участников. Строго говоря, разницы в их взглядах, позициях практически не существовало; может, это и послужило одной из причин, побудивших их взяться за эту работу, которую в таком случае можно считать монологом, переданным — не без заботы о читателе — в виде диалога.

Важнее другое. На совещании редакторов независимых изданий, проходившем в Москве 7—8 мая с. г., присутствовал лишь один из соавторов, который и вынес для обсуждения всю фактическую, информационную сторону дела; она сама по себе представляла достаточный интерес.

Но, как говорится, по зрелом размышлении авторы решили не ограничиваться только ею, постараться выйти за собственно репортажные рамки рассказа, придать ему более широкое звучание, внести элементы аналитического подхода. Этому в определенной мере помогло присутствие другого автора, который в силу и возраста и опыта имеет определенное право рассматривать процесс деятельности независимых журналов в динамике — от истоков зарождения самиздата до попыток предвидеть будущее многочисленных самодеятельных журналов, контуры которого просматриваются с большим трудом . . .

Именно поэтому авторы уделили меньше, чем, может быть, оно требовало, внимания рассказу о будущих планах и намерениях независимых редакторов — практика нашего существования, увы, доказала, как часто самые благие намерения остаются втуне — и не стоит, по нашему мнению, увлекаться преждевременной рекламой . . .

Звучное слово «андерграунд», как нетрудно догадаться, английского происхождения. Обозначает «подполье». Все издания, которые не без юмора объединяются под этим термином, образно говоря, вышли из «подполья». То есть еще вчера их существование было немыслимо — тем более в таком масштабе, с таким размахом, при котором редакторы «независимых изданий» собираются в Москве на совещание.

Сегодня же существование таких самодеятельных журналов — признак ширящейся и углубляющейся демократии. Ведь далеко не каждое печатное слово надо воспринимать, как «глас божий» — раз напечатано, значит, так оно и есть в действительности. Отнюдь — далеко не со всем, что выходит на страницы этих журналов, можно согласиться; что-то вызывает активный (но здоровый, не антагонистический) протест, но многое — просто интересно, наводит на мысли, как принято говорить.

Л. Б. Я догадываюсь, что родилось это движение не на пустом месте. Ведь иначе и быть не могло.

Но когда пытаешься понять истоки... Врать не хочется, а говорить правду — хотя бы так, как мы ее сегодня понимаем,— все еще страшновато. Но — никуда от нее не деться.

Для меня, для моего поколения определение «враг народа» — давняя история. Самиздат, а также тамиздат, магнитиздат — лексика более новая, она у нас на слуху. История самиздата практически не исследована, и вряд ли стоит брать на себя смелость быть первыми в этой области — до этого дело вообще не дошло. Но кое-что о предтечах «самиздатовской журналистики» сказать можно.

С. М. Точное число произведений самиздата практически неизвестно — разве что соответствующим ведомствам, но сомневаюсь, что они будут делиться столь специфической информацией. Самиздат представлял собой целую отрасль литературы, включавшую в себя практически все жанры и существовавшую вне и помимо «официальной литературы». В нем писали о том, о чем молчала официозная литература, но... не следует думать, что штамп самиздата автоматически означал знак качества. Были произведения слабые, подражательные, написанные, как ни парадоксально, в духе вполне «официальной» литературы — но только с другими знаками: если, скажем, у Бабаевского и Кочетова принадлежность к клану партийных работников априори означала наличие у тебя высочайших человеческих параметров, то, случалось, в некоторых произведениях самиздата люди этой прослойки были носителями самых поганых качеств. Такой подход, конечно, обеднял литературу, и этой опасности не избежал даже такой писатель, как Солженицын. В его «Раковом корпусе», произведении безусловно значительном, некий Русанов, «деятель областного масштаба», который волей судеб попадает в обычное «раковое отделение», нарисован только черными (в лучшем случае — сероватыми) красками — так же как и члены его семьи...

Не будем забывать, что в самиздате получили «крещение» и произведения, которые ныне выходят к широкому читателю,— те же «Дети Арбата», тот же «Крутой маршрут», поэма Твардовского, рассказы Шаламова, творения братьев Стругацких, отвергавшиеся одним издательством за другим; иные из них даже без ведома и воли автора попадали на Запад, что придавало им уж совсем одиозную, «не нашу» окраску, лишая писателя в «те времена» даже малейшей возможности опубликоваться на Родине.

Самиздат был оппозиционной литературой, создаваемой диссидентами. Диссидентура — звучит как обиталище резидентов... Но мы переосмысливаем не только историю, но и термины, связанные с нею. И среди диссидентов были разные. Были экстремисты, на дух не переносящие все связанное с Советами. Были те, кто оказался «вытолкнутым» в диссидентство,— как правило, люди с обостренным чувством справедливости, с болезненной совестливостью, которые не могли молчать. Они и не молчали — они писали. Писали в стол. И порой туда ложилась блестящая публицистика.

Л. Б. Но, говорят, это очень трудно для настоящего литератора.

С. М. Не знаю. Не думаю, что это именно так... Ведь для настоящего писателя главное — это выговориться, сказать, что он думает. Но... понимаешь, это дело второе, как говорится. Я рискну предположить, что и Рыбаков и Твардовский, закончив работу (один над романом, другой — над поэмой), испытывали прилив скорее радостных эмоций, чем горестных — вот, мол, обречены на молчание.

Л. Б. Рукописи не горят... Но это спорное утверждение. Некоторые горят очень даже жарким пламенем. Но иные и в самом деле остаются. Удивительную историю рассказывал писатель Юрий Домбровский, которому после освобождения из лагерей некий мужичок принес... рукопись его «арестованного» романа «Обезьяна приходит за своим черепом». Оказывается, посетитель работал... кочегаром в том самом очаге «аутодафе», где сжигались рукописи. И прежде чем бросить роман Ю. Домбровского в топку, он стал читать его, увлекся и вот...

рукопись в самом деле не сгорела. Но мы можем только догадываться, какая великая литература нашла свой конец в топках ГУЛАГа... Однако мы отвлеклись от темы нашего разговора — публицистика, периодика.

С. М. Вот с этим дело обстояло, если мне не изменяет память, куда хуже. Периодических, даже «альманахивных» изданий практически не существовало — за редчайшим исключением. Думаю, в частности потому, что работа над периодическим изданием требует непрерывной, постоянной деятельности, само наличие которой быстро приводило к тому, что данное издание прекращало свое существование, едва только успев заявить о себе.

Л. Б. И тем не менее можно назвать несколько журналов «эпохи застоя», которые успели оставить по себе хоть какой-то след. Это первым делом, «Хроника текущих событий». Мне видеть ее не приходилось, но по рассказам я знаю, что это было резко оппозиционное издание, имевшее таинственные, но очень хорошо осведомленные источники информации, из которых поступали данные о процессах, о положении политзаключенных, о социальном неблагополучии в разных регионах страны. Были еще журналы, если не ошибаюсь, «Русь» и «Вече» — как нетрудно догадаться, этакого «почвеннического», славянофильского направления. Издателям и тех и других изданий пришлось познакомиться с местами не столь отдаленными..

С. М. Сегодня общепризнанный критерий полезности и нужности любого издания — насколько оно служит делу социализма, в какой мере оно придерживается примата общечеловеческих, гуманистических ценностей. И с этой точки зрения, мне кажется, названные журналы склонялись все же к упомянутому постулату, хотя прямо его не провозглашали. Но они будили общественную мысль, вырывали ее из трясины самоуспокоенности...

Л. Б. Да, вот уж где не было атмосферы самоуспокоенности — на совещании редакторов независимых изданий.

С. М. Слушай, какое-то уж очень длинное название. Может, как-то покороче окрестить его?

Л. Б. Сами себя они называли «независимыми».

С. М. Счастливые люди, если они и в самом деле считают себя таковыми... Но не будем спорить — пусть будут независимыми... Для начала расскажи, кто там был — кого они представляли, какие журналы.

Л. Б. Да, конечно, определить круг присутствовавших на встрече необходимо, но прежде хочу сказать о другом. О правильном понимании термина «независимые» Не стоит его абсолютизировать.

В квартиру, где проходило совещание, был открыт свободный и невозбранный доступ представителям западных органов информации — Рейтер, Франс Пресс, Эн-би-си и других. Нет, нет, ничего в этом странного нет, интерес западных журналистов к такому необычному совещанию вполне понятен, и никто не собирается рассматривать их как агентов ЦРУ и прочих столь же зловещих учреждений. Тем более, что были и другие причины такой благорасположенности к западной прессе — но о них чуть ниже. И в то же время — крайнее подозрение к представителям нашей прессы. С одной стороны, я была на совещании как частное лицо, с другой — не скрывала, что представляю молодежное издание из Латвии. По поводу того, позволить ли мне присутствовать на совещании или выставить, шли дебаты, которые, к счастью, разрешились в мою пользу. Правда, «независимые» попытались заручиться моим обещанием «ничего не писать» о том, что услышу. Дать такое обещание я отказалась, лишь пообещав взамен, что если и буду что-то писать, — то совершенно честно, откровенно. С представителями же Ленинградского обкома комсомола и их «Бюллетеня» обошлись куда круче — их выставили единодушным голосованием — но, конечно же, с соблюдением демократических норм. С одной стороны, независимых можно понять: не раз и не два были случаи, когда представители официальных органов и организаций использовали собранную информацию далеко не так, как хотелось; с другой стороны, присутствие и внимание «западников» давало

какую-то гарантию, что участники совещания спокойно вернутся домой.

С. М. Только ли ради этого их приглашали?

Л. Б. Конечно, нет, не только... Это след давних и, увы, традиционных отношений, сложившихся и у самиздата, и у его наследников с официальной прессой: не верить и не просить. Скажем, публикаций. И следует признать, что для такого отношения были основания: официальная пресса, если и замечала «самодеятельную журналистику», то лишь как объект для самых заушательских, самых страшных обвинений. И пусть сегодня в «официозе» печатаются материалы, которые в свое время сделали бы честь любому диссиденту, — отношение осталось. И соответственно, внимание к западной прессе, которая, если даже и приврет, то поносить не будет; не будем скидывать и ту убежденность, о которой мы уже говорили: известность т а м якобы ограждает от неприятностей з д е с ь, хотя история часто доказывала обратное...

С. М. Тебе не кажется, что наша лексика как бы несет на себе отпечаток прошлых лет?

Л. Б. Кажется. Точнее, так оно и есть. Но ведь пока есть еще и реалии прошлых лет, с которыми приходится считаться. Допустим, мы понимаем их (а все понять — еще не значит все принять); но эти эпизоды вызвали у меня не самые приятные ощущения: господи, и тут проверка документов и «посторонние, покиньте помещение!».

С. М. Отнесем это к неизбежным издержкам нового дела. Итак, ты «аккредитовалась» на этой встрече...

Л. Б. На сей раз (отмечу, что это была вторая конференция «независимых») было двадцать девять изданий, представлявших Москву, Ригу, Ленинград, Псков, Куйбышев, Львов. Да простят меня неупомянутые, но вряд ли стоит утомлять читателей столь длинным перечнем — назову лишь самые «весомые», значительные из присутствовавших издания, тем более что некоторые из неуказанных только начинают заявлять о себе.

Кстати, участвовать в конференции могли издания, имеющие в своем активе не менее трех номеров.

Заманчиво было бы тут же, с ходу разделить их «по жанрам», но сделать это трудно — изданий, придерживающихся строго одного направления, почти не было — рядом с публицистикой мирно сосуществуют поэтические упражнения авангардистов и так далее. Многие издания распространяются бесплатно. Мало того, иные издатели выпускают свои журналы практически за свой счет — а тот, кому хоть раз приходилось обращаться к машинистке, представляет, во сколько обходится перепечатка, скажем, 100—150 страниц Тем не менее Владимир Корсунский («Экспресс-хроника», Москва) торжественно пообещал, что ни один номер его издания не будет продан хоть за копейку.

Итак, «Гласность», «Экспресс-хроника», «Поединок», «Земля», «Харе-Кришна» (Москва), «День за днем» (вестник московской группы «Доверие»), «Митин журнал», «Часы», «Психическая культура», «Женское чтение» (Ленинград), «Третья модернизация» (Рига) и так далее.

С. М. Поговорим о некоторых изданиях в отдельности. С оговоркой — пусть их издатели не обижаются, если им что-то придется не по вкусу. Они должны быть к этому готовы: вынося свою продукцию «на люди», они наверняка предполагают, что их ждет широкий диапазон мнений. Вряд ли кто-либо из них считает, что создает нечто эпохальное, вне критики. Вот меня, в частности, интересует журнал кришнаитов...

Л. Б. Почему именно он?

С. М. Ну, не только он. Но кришнаитам в последнее время крепко достается, и я не уверен, что все шишки, что валятся на их головы, приходятся им по справедливости.

Л. Б. Журнал «Харе-Кришна» представлял Иван Матушкин, и в беседе с ним, несмотря на некоторую ее (беседы) занудность, удалось кое-что почерпнуть. Говорил он и о том, с чем нельзя было не согласиться О терпимости, которая приходит не сразу О том, что дискуссии надо вести без взаимных

оскорблений, без предубеждения друг к другу; о том, что кришнаиты никогда не примкнут к движению или ассоциации, пропагандирующей шовинистические, человеконенавистнические идеи. Кришнаиты сознательно стараются придерживаться рамок законов страны, гражданами которой они являются. Правда, как только речь зашла о трудностях регистрации кришнаитских общин, признаюсь честно, беседа потеряла профессиональный интерес, хотя их мытарствам можно посочувствовать. Сам же журнал большого любопытства у меня не вызывал, даже в виде экзотической находки — может быть, в силу того, что и само движение кришнаитов очень немногочисленно.

С. М. Точных данных у нас нет, но не могу отделаться от впечатления, что «кришнаизм» в СССР — явление в какой-то мере искусственное, неживое, несмотря на те моральные ценности, которые он проповедует. Родилось оно, предполагаю, как естественная реакция на неуклюжесть нашей пропаганды, застой в обществе, отсутствие подлинных ценностей — и в результате начался своеобразный поиск, который завел кого куда: философа — в ночные сторожа, а дворника — в кришнаиты.

Л. Б. Хотя тут мог быть и обратный процесс... О журнале же, повторяю, ничего стоящего сказать не могу. Он просто нудноват; не говоря уже о том, что современному свободному человеку должно быть унизительно обращаться к кому бы то ни было — даже к своему духовному учителю — со словами «Его божественная милость». Впрочем, право кришнаитов на такое преклонение перед своими «наставниками» на совещании никто не оспаривал.

Одним из самых резких по своей социальной направленности журналов был «Поединок», представленный Владимиром Сквирским, который выступал одновременно от Комитета социальной защиты. Баллетристики в нем немного, в основном публикации на экономические, социальные темы. Материалов в его «портфеле» скапливается столько, что журнал не успевает все их «выстреливать». Это понятно: «Поединок», не случайно взявший себе такое воинственное название, бьет по самым больным точкам (простите за тавтологию) нашего общества — и далеко не всем это может нравиться, тем более, что сам Сквирский — человек чуждый «высокой дипломатии» и визировать «поединковские» материалы никуда не ходит.

С. М. Конкретнее об их тематике.

Л. Б. Тысячи и тысячи людей тянутся в приемные ЦК, потому что на местах им не удается найти правды, будь то вопрос приемлемой зарплаты, предоставления работы в соответствии с квалификацией, помощи в получении жилья и прочее. Если к какому-то такому делу подключается и Комитет социальной защиты, то, как считает Сквирский, успех гарантирован в 30 процентах случаев — с профессиональной точки зрения он довольно высок, не каждое официальное издание может похвастаться такой действенностью.

Комитет социальной защиты, можно сказать, продолжил волгоградское «дело генерала Иванова», открыто сказав о порядках в зонах — о самогоне, который варят там, о поборах с заключенных, о поставляемой туда... красной икре.

Он откровенно рассказал о деле доктора Листова, бывшего главного врача Балакиревской больницы (Владимирская область), выступившего против секретаря обкома (который занимался противозаконными деяниями) и попавшего за это в тюрьму, где ему пришлось вынести тяжелейшие испытания. Поднимает «Поединок» и еще более острые темы, о которых у нас даже сейчас как-то не принято говорить вслух, — точнее, темы эти только начинают открываться — например, об СПБ, спецпсихбольницах, о трагедии бездомных людей (кстати, к этой теме мы вернемся, когда зайдет речь о журнале «Двенадцать» из Пскова и Валерии Никольском, его представителе).

С. М. Зачем же откладывать? Давай сразу перейдем к «Двенадцати».

Л. Б. Сделать это тем легче, что у меня есть магнитофонная запись беседы с Валерием Никольским,

который и достаточно полно, и эмоционально рассказал о том, чем они занимаются.

«Мы обращаемся к истории во всем ее развороте, потому что утрата национальных, исторических, религиозных корней сокрушительно ударила по обществу; мы стали Иванами не помнящими родства. Макаренко создал материальную основу для появления нового человека; мы же стараемся взрастить духовную основу для того же. В нас все время воспитывали коллективную нравственность, и это было очень удобно, потому что «оконкреченного» ближнего любить трудно; куда легче и **безответственнее** любить все общество целиком.

Мы создали то, что назвали «Коммуной-1». Наше детище обеспечивало условия тем, кто остался без крова, без пристанища, без денег. Коммуна служила также центром психологической адаптации, к нам обращались и наркоманы. «Коммуна-1» была чем-то... ну, чем-то вроде расширенного телефона доверия — тот был анонимен, к нам же мог прийти «живьем» любой человек. Мы держались в Пскове пять месяцев, а потом нас разогнали — с такой жестокостью, что нам казалось: мы попали в руки не стражей порядка, а преступников. Дом, в котором предполагала обосноваться «Коммуна-1», год простоял пустым, а потом городскими властями был передан кооперативу «Кавказ». Формальный повод для изгнания коммуны был: мы действительно самовольно захватили это здание, подобно скуатерам, американским бездомным. Преимущество же было отдано тем, кто способен приносить прибыль... Их было много — тех, кто участвовал в нашем начинании, от истово верующих до членов ВЛКСМ. Всех их объединяло одно — ориентация на бескорыстие. И, думаю, именно это претило властям. Мы были для них как бы живым укором... Но мы знали: человек — это не «единица», которая должна быть на учете у соответствующего бюрократа».

«Земля» — своеобразный наследник достопамятного «Вече». Направленность у него скорее религиозно-нравственная; сами «земляне» называют свой журнал православно-патриотическим. Круг их интересов — религия, экология, охрана памятников культуры. Любопытно, что «Земля» охотно предоставляет трибуну «солидным» авторам, которых по тем или иным причинам не печатают «толстые» журналы. Так, в частности, в «Земле» готовится к публикации — а может, ко времени выхода в свет этого материала уже появится — статья доктора наук Н. А. Лебедевой «Аномалии науки», не пробившая себе дорогу в «Новом мире».

С. М. Имеет ли «Земля» отношение к небезызвестному обществу «Память»?

Л. Б. По той тематике, которую она затрагивает, — да. Но «Земля» поддерживает здоровое крыло «Памяти», придерживаясь антишовинистических позиций.

С. М. Уже сейчас видно, что круг интересов, представленных на совещании, был довольно широк. И если к тому же вспомнить «Женское чтение»...

Л. Б. Да, этот журнал заслуживает внимания. Предшественником «Женского чтения» был ленинградский феминистический журнал «Мария»; но он был более политизированным что ли, — в нем шла речь о женщинах в очередях, да и вообще о тяжелой доле нашей соотечественницы. «Женское чтение», так сказать, более домашний журнал. Может, в силу того, что издает его Ольга Липовская, по профессии переводчик, его страницы в основном отданы переводным произведениям — не столько беллетристике (правда, в нем печатаются и ленинградские поэтессы), сколько, скажем, психологическим работам, связанным с женской тематикой, в том числе и «эмансипе» — тема поистине необъятная. И не стоит относиться к нему с иронией.

С. М. Что ты имеешь в виду?

Л. Б. Такой журнал всегда найдет своих поклонников — и читают его, по сведениям О. Липовской, в основном мужчины. Наверно, хотят разобраться, что представляют собой эти странные существа — женщины.. Был представлен там и наш рижский журнал «Третья модернизация» — и экземплярами, и

лично Александром Сержантом, оператором Рижской киностудии (Владимир Линдерман, его соредактор, остался в Риге). Рижский журнал пользовался всеобщим интересом. И популярностью.

С. М. За что?

Л. Б. За то, что тебя раздражает...

С. М. Да не раздражает он меня, ни в коем случае. У меня просто есть к нему определенные претензии, проистекающие, наверно, из желания видеть его лучше, чем он есть. Постараюсь объяснить. Во-первых, от номера к номеру он становится лучше, хотя небольшой тираж по-прежнему вынуждает его ходить почти в невидимках. Но даже заметно улучшившиеся номера, на мой взгляд, несут в себе общую беду многих самодеятельных журналов (это хочу особо подчеркнуть) — отсутствие четких критериев отбора материалов, такую всеядность, которая приводит то к длиннотам, то к скукоте, а порой — будем говорить без обиняков — и к откровенной пошлости. Странное впечатление сегодня производят главы из книги некоего Эсад-бея о молодости Сталина, изданной в Риге в 20-х, если не ошибаюсь, годах. Тоже по-своему интересно... было бы вчера. И вместе с тем в рижском журнале есть по-настоящему интересные вещи, от публикации которых, мне кажется, не отказался бы и «настоящий» журнал (зависимый, если уж каламбурить). Могу назвать, для примера, в 3—4-м (сдвоенном) номере стихи Татьяны Щербины и Тимура Кибирова, записки хипника Г. М. о своих скитаниях по Руси и по... спецприемникам: тут есть и что почитать, и узнать новое; есть и над чем подумать — открываем для себя «новые миры».

Л. Б. Можно было бы поговорить еще и о небезызвестной «Гласности» (к одному предложению ее редактора Сергея Григорьянца мы еще вернемся), и о «Выборе», и об «Экспресс-хронике»...

С. М. ...но давай лучше обратимся к не менее существенным вещам — к самой сути встречи. Как по-твоему — зачем она вообще была нужна?

Л. Б. Поскольку во мне нет ни капли сожаления о якобы потерянном времени, могу считать, что встреча в самом деле была нужна. Люди, занимающиеся одним делом, преданные, в принципе, одним и тем же идеям, разбросаны по всей стране, что вынуждает их к «изобретению велосипеда», так как и проблемы и трудности у всех весьма схожи (поиск и отбор материалов и авторов, сложности с «полиграфической базой» — говорю о ней не без иронии, потому что у большинства база — это пишущие машинки: «"Эрика" берет четыре копии»; ... иной раз весьма непросто складывающиеся отношения с властями — и так далее и тому подобное). Обо всем этом надо было поговорить. Это раз. Второе — многим надо было просто «выйти на люди»: и себя показать, и другой товар посмотреть; была в этом какая-то доля честолюбия, но осуждать за это не стоит — оно естественно. И, может быть, самое главное — все эти подвижники хотели ощутить рядом плечо соратника, почувствовать, что они не одиноки... Организационно закрепить эту необходимость предложил С. Григорьянц.

С. М. В какой форме?

Л. Б. Во-первых, в форме Клуба независимой печати. Если я правильно поняла, это должно быть нечто вроде постоянно действующего семинара независимых редакторов, на котором самиздатовцы будут обсуждать вопросы издательской деятельности, решать проблемы, обмениваться опытом. И во-вторых, профсоюз независимых журналистов. Его задача — подобрав коллектив юристов, знатоков авторского права, оказывать правовую помощь при конфликтах независимых журналистов с официальными органами, предоставлять материальную помощь лицам, которые подвергаются неправовому давлению. И далее — что подскажет жизнь.

С. М. Что ж, и клуб и профсоюз могут оказать свое положительное влияние, но, если говорить откровенно, что-то меня смущает... Может быть, то, что от них как-то веет старым душком заорганизованности и бюрократизма. Буду рад, если

ошибусь, но согласись, такие опасения родились не на голой почве...

Л. Б. Одна из целей «независимых» — поднять широкую кампанию за отмену запрета на всякую издательскую кооперативную деятельность.

С. М. Практика эта и позорна и глупа. Позорна тем, что она продолжает мрачные традиции прошлых лет, когда считалось, что правительству есть что скрывать от народа, ибо он настолько ограничен и неразумен, что не в состоянии самостоятельно распорядиться полученной информацией. А глупа — потому, что об этих постановлениях рано или поздно все узнают, с ними знакомят, когда отказывают в праве на кооперативную издательскую деятельность. Но их нельзя комментировать — полного текста все равно нет — на них нельзя ссылаться; то есть они будто бы и не существуют, но «свое действие оказывают». Прямо Оруэлл какой-то...

Как ты считаешь, мы в принципе обрисовали все, о чем говорилось на встрече?

Л. Б. В общих чертах — да.

С. М. Что ж, будь я на этой встрече, я бы ушел с нее неудовлетворенным.

Л. Б. Почему же? Там было очень интересно.

С. М. Не сомневаюсь. Так же не сомневаюсь в принципиальной полезности таких встреч. Но все же, на мой взгляд, самого главного там не было сказано; насколько я понимаю, об этом вообще не шел разговор...

Л. Б. Поговорим сейчас...

С. М. Да, на встрече было высказано немало интересных и дельных мыслей, предложений. Намечены цели. Но своего места в общей сегодняшней структуре общества «андерграунд», как мне кажется, не определил. Куда больше времени отняли рассказы о своих изданиях, о своих проблемах, а порой — и пикирование с коллегами. Не будем повторять читателю общие места — какой период переживаем сейчас все мы. Он — судьбоносный. Сам факт этой встречи говорит о многом.

Наша «большая» пресса, можно без преувеличения сказать, вырвалась на передовые рубежи перестройки. Но предельны ли они? Иными словами — можем ли мы в данный момент прочитать в ней все, что сегодня нужно знать? Нет, это не возьмется утверждать даже самый ярый поклонник газет и журналов. Примеры? Пожалуйста — не пора ли переосмыслить некоторые из политических процессов времен застоя? Не пора ли поименно назвать тех, кто был повинен — нет, не в кровавых злодеяниях — а в многомиллиардных потерях и убытках, груз которых сейчас несем все мы? И при этом не ссылаться на «коллегиальность решений»: подпись, как правило, стоит одна, ну, две. И так далее и тому подобное.

Нет, ни в коей мере не хочу, чтобы мои слова воспринимались как укор в адрес независимых изданий: мол, не о том, не так пишете; пришел кто-то со стороны и все разъяснил. На их счету немало предельно острых, смелых публикаций, которые будоражили общественную мысль, — то есть у тех, кому удавалось достать тот или иной журнал; к их несомненным заслугам относится и то, что они разбивали заскорузлые догмы, приучали к альтернативности мышления. Были у них и ошибки, но о них сейчас говорить не будем: это может увести слишком далеко в сторону от нашей темы.

Я отнюдь не предлагаю независимым изданиям программу действий: они сами знают, чего хотят и что делают. Но высказать свое мнение — спасибо эпохе гласности! — и я имею право. Так вот, на мой взгляд, разговор об общей платформе, о программе, определяющей место самодеятельных изданий в структуре сегодняшнего общества, и должен был бы быть самым главным на встрече — с учетом, конечно, всего остального, что там происходило. Конечно, кто-то мог бы и не принять ее — дело выбора. Но те, что консолидировались бы с программой, воплощали бы ее каждый в меру своего разумения, сил и возможностей. Ни в коем случае здесь не идет речь о призыве к единообразию, каждая ветка дерева растет, живет и умирает са-

ма по себе — но питает их всех один ствол...

Л. Б. Мы имеем дело с фактом, который уже не спрячешь, не замолчишь: есть несколько десятков журналов (и, думаю, будет еще больше), есть группы людей вокруг них, объединенных общей идеей, которая очень проста: внести свой вклад в те изменения, что происходят у нас в стране, внести его в максимальной мере, с максимальной пользой. Но... что ждет это движение в дальнейшем?

С. М. Здесь мы вступаем в область предположений, ибо события могут повернуться самым неожиданным образом, и это тоже нельзя скидывать со счетов. Но если они будут развиваться естественным образом, то предсказать будущее «андерграунда» нетрудно: некоторые из независимых журналов вырастут в солидные, интересные и, главное, нужные издания (обойдем пока стыдливым молчанием полиграфическую базу), а другие, увы, вымрут, потеряв читателя; тот факт, что некоторые из них все равно будут упрямо издаваться, еще ни о чем не говорит. Такая судьба ожидает тех, кто будет по-прежнему проявлять неразборчивость в отборе материала. Ведь интерес к «свежатинке» (хотя пока запасы ее куда как велики!) все же сойдет на нет. И читающей публике нужна будет подлинно свежая («первой свежести») интеллектуальная пища, побуждающая к размышлениям, к анализу и синтезу, обогащающая духовно.

Л. Б. Спорить с этим трудно, но... ты говоришь так, словно эти издания будут плодиться в некоем административном вакууме, что власти даже сквозь пальцы не будут на них смотреть, вообще не будут их замечать. Но ведь так только в кино бывает.

С. М. Да, это верно. Отношение властей к «андерграунду» — и сегодняшнее и завтрашнее... тут мы снова переходим к предположительности.

Думаю, у тех, кто отвечает за развитие нашей идеологической продукции, существование независимых журналов большого восторга не вызывает — и это мягко сказано. Журналы неподцензурные, кто ими руководит — черт их знает; они там такое могут напечатать, что сажай редакторов в каталажку, но хлопот не оберешься; а если они еще своим профсоюзом и клубом давить будут... То есть я не удивлюсь, если услышу от какого-нибудь чиновника откровенное признание, что его сокровенное желание — разогнать всех этих издателей, и подальше, по той дороге, по которой Макаровы телята брели. Понятное для него желание. Но сегодня этого уже не сделаешь. Надо принимать существование такой необычноватой и опасноватой формы общественной активности.

Л. Б. Но почему же только принимать? Ведь есть и другие формы сосуществования...

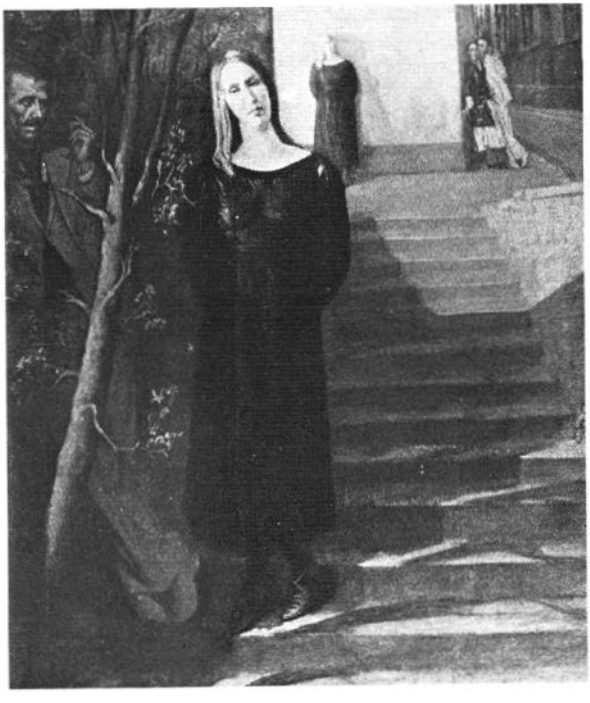
С. М. Совершенно верно. Но они как-то непривычны для нашего общества. А привыкать к ним надо. Я имею в виду дискуссии, споры — конечно, аргументированные, в парламентских рамках, без грубостей: если «давить оппонента», то лишь бетонной весомостью аргументов. Как? Да очень просто. Скажем, не понравилось, показалось ошибочным секретарю райкома ЛКСМ (или КП) какое-то выступление журнала, затрагивающее его, — не надо бежать с жалобой «наверх» — садись за стол и пиши зубодробительную по своей аргументации статью — да-да, в тот самый журнал; а уж если там откажутся ее печатать... что ж, вот прекрасный повод обратиться за помощью и защитой в этот профсоюз независимых журналистов.

Л. Б. Давай хотя бы в самых общих чертах смоделируем позицию противников самодеятельных журналов. Некоторые из них слабы с профессиональной, литературной точки зрения, страдают неразборчивостью, да и кроме того, сейчас всюду столько печатается, что читать не успеваешь, да и уровень публикаций столь высок...

С. М. «Моделирование» это можно продолжать долго — и даже не без убедительности. Не будем опровергать эту точку зрения — пусть даже все так. Но существование и упоминаемых нами, и десятков других журналов — это объективно

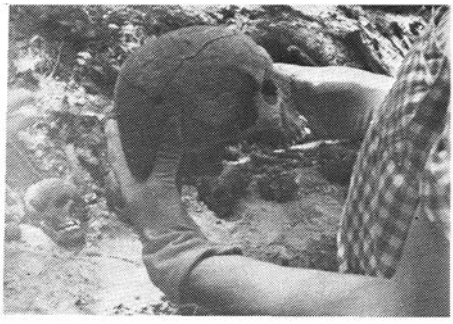
ная реальность, от которой не отвернешься. Раз их печатают. раз их читают — значит, они нужны; и не в «клубничке» дело. Сегодня в ходу гораздо более крупные «плоды». Так что ни отменить их, ни сделать вид, что их не существует, не удастся. И не надо этого делать.

Л. Б. Каждый должен иметь право голоса. Прорезывается и остается только сильный голос. То есть тот, что нужен обществу, нужен всем. Поэтому — пусть поют. И хорошо, что голоса их доносятся не из подполья . . .



А. Жебелик. Лестница

Вадим ШЕРШОВ



«МЕСТО СМЕРТИ — КУРАПАТЫ...»

Документальное повествование Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева, опубликованное в белорусском еженедельнике «Літаратура і мастацтва», потрясло минчан. В нем шла речь об обнаруженных под Минском местах массового захоронения жертв сталинского террора. Расследованием занимается специальная следственная группа во главе с Я. Я. Бролишем. По предварительным подсчетам, число расстрелянных колеблется от 250 до 300 тысяч человек, и есть все основания предполагать, что среди них были и жители Прибалтики...

Специальный корреспондент «Даугавы» побывал в тех местах, где полвека назад совершались массовые расстрелы; он говорил с работниками следственной группы, со свидетелями злодеяний. Публикация «Даугавы» — первый подробный рассказ об одном из преступлений сталинизма.

Следствие продолжается.

ЗАНАВЕС ПРИПОДНЯТ

Лес молчал. Словно вслушиваясь в его вечернюю тишину, человек сидел неподвижно, прислонясь к сосне. Два подростка, проникшие сюда, несмотря на запреты старших, через лаз в заборе трехметровой высоты, тоже застыли. Неясное чувство страха сковало их. Что-то неестественное угады-валось в напряженной позе мужчины. Все же собравшись с духом, подбадривая друг друга, приятели сделали несколько шагов вперед. И — остолбенели. А уже через мгновение что было сил мчались прочь от страшного места. Свет ранней луны лег на лицо незнакомца, залитое кровью...

По весне множество белых цветов омолаживало бор, раскинувшийся на невысоких холмиках. Подснежники, по-местному — курапаты, так издавна звали и лес этот, и местность здешние жители. Глухомань оживала и осенью — грибов и ягод хватало не только крестьянам из соседних Цны, Зеленого Луга, Дроздов, но и минчанам, добиравшимся сюда из недалекого города. Шумели под ветром сосны и дубы, весело перекликались на болоте молодухи, носились пацаны, да визжали время от времени девчонки, перепуганные спрятавшимся за кустами босоногими ровесниками.

Все это кончилось в одночасье. С первой машиной, что привезла сюда, в это урочище, неизвестных арестантов. Их конвоировали люди в форме НКВД. И с первыми выстрелами сжались в тревоге сердца сельчан. Но никто из них и подозревать не мог, что, начиная с этого дня недоброй памяти 37-го года, эхо выстрелов будет изо дня в день катиться по окрестным селам, по их жизни. До самого черного июня сорок первого...

— Пять лет страх висел над нашей весной. Выстрелы в лесу покоя не давали, слышали мы их постоянно, — житель Цны Р. Боцян вспоминает лихолетье, до хруста сжимая пальцы. Нелегко бередить память... — Людей на расстрел привозили по Заславльской гравийной дороге, которая считалась тогда «военной». Машины съезжали в лес, и — начиналось. Сядешь летом вечерять во дворе и, люди добрые, кусок в горле застревает: там же люди с жизнью прощаются. Душа к этим выстрелам привыкнуть не могла. Уже вроде и стрелять перестанут, а ты все слышишь: хлоп-хлоп...

Роман Николаевич замолкает, смотрит в сторону леса, который хорошо виден с его подворья. Прислушивается. Невольно прислушиваюсь и я. Тихо... Но, кажется, мой 75-летний собеседник слышит те выстрелы, что звучали здесь полвека назад.

— Большой участок леса, где стреляли людей, обнесли еще в 37-м высоким плотным забором — доска на доску. Только разве спрячешь от лю-

дей такое! Кто посмелее — и за забором побывали, а то просто в щели видели, как народ смерть принимал. Рисковали, конечно... Но разве только выстрелы пугали нас? В Цне учительствовал Арсений Павлович Груша. Так забрало его НКВД. Хороший человек пропал... Правда, из Подболотья, Зеленого Луга куда больше людей забрали. А наш председатель колхоза Боцян своих в обиду не давал. К нему не раз подступались: «Враги есть? Как это нет? Смотри, должны быть». А Тимофей Васильевич на своем стоял. Немало от гибели спас народу...

Прощаюсь с растревоженным нелегкими воспоминаниями Романом Николаевичем и по диагонали перехожу Рабочую улицу. Дом Николая Карповича напротив. Встречает сам хозяин — крепкий еще мужчина, чьи руки и лицо облиты плотным загаром.

— В 37—38-м довелось видеть расстрелы в бору, — медленно, явно без особого желания, начал Николай Васильевич. — Мне тогда восемнадцать было .. С такими же, кто посмелее, и лазил за этот забор. Понятно, чем рисковали.

Однажды утром шел по делу, обходя стороной огражденный участок леса, а он гектаров 10—15 занимал, и встретил Шибайло (имя запамятовал, из другой деревни человек). Он всю ночь сторожил локомобиль, что использовался для резки торфа на болоте, которое неподалеку от места, где расстреливали. Вижу, взволнован, нервничает. «Если б ты знал, братка, сколько людей побили ночью. Даже землей не засыпали. Идем поглядим». Пошел с ним. Не очень далеко от забора в широкой яме лежали забитые люди, чуть прикрытые еловыми лапками. Одежа простая, бедная обувка. Селяне, такие же как мы...

Людей убивали партиями. Убивцы в форме НКВД стреляли в голову крайнего, чтобы, видать, одной пулей двоих сразу уложить. Экономия... Напрактиковались: по двое сразу падали в яму... Рты кляпами затыкали. И вот ряд расстреляют — следующая партия. Пока всю яму не заполнят. Песком немного присыпят, а потом все заровняют.

Как-то, уже темнело, под вечер было, шел я из Зеленого Луга домой через лес. С одним мужиком из нашей Цны, намного старше меня. Стрельбы не слышно. Ну, думаю: отстрелялись, трасца вашей маме, уехали. Глянь — а под деревом (как через забор перелез?) человек в окровавленном белье сидит. Похоже, что живой. Чем помочь? Слышим, совсем рядом машина загудела. Мы — в сторону, дальше ходу. А они, энкавэдисты, уже навстречу: «Кто такие?» Из Цны, отвечаем. «Кого-нибудь видели?» Я молчу, а дядька не выдержал: «Сидел вот там какой-то...» Потом я оглянулся — а они того несчастного, окровавленного за ноги волокут. Голова по земле волочится... Как колоду кинули в машину и увезли. Как он сумел за забор вырваться — понять не могу...

Карпович прошел две войны, не раз видел смерть в лицо, но и его руки заметно дрожали, когда он вспоминал о той ночи.

Спасся ли кто в Курапатах, убежав от них? Николай Васильевич не знает таких случаев, но он в 39-м ушел в армию, а расстрелы здесь продолжались до войны. И есть свидетельства, что кое-кто спасся. Жив ли хоть один из них сейчас? Хотелось бы верить...

О свидетелях. Их не мало, хотя война и эти места (сейчас окраина Минска) не обошла стороной. Благодаря их показаниям вырисовывается страшная картина кровавой вакханалии, которая продолжалась здесь более четырех предвоенных лет. В 1937 году людей, которых в Курапаты доставляли «черные воронки», расстреливали рано утром, в 14 часов и после наступления сумерек. Штабель на штабель ложились трупы в предварительно выкопанные глубокие ямы. Затем — слой в 20—25 см песка. И иногда, видать под настроение, высаживали сосенку. Забор появился во второй половине 37-го, а вместе с ним охрана и собаки. От посторонних взглядов отгородили место бойни, только от посторонних ушей предсмертные крики выстрелы заглушить не смогли. Изменилось лишь время расстрелов. Теперь стреляли после обеда, под вечер и всю ночь. И так — ежедневно. Конвейер смерти, по свидетельству очевидцев, работал без перерывов...

«Иногда по нескольку машин заезжало за ограду... Как начнут стрелять, крик доносится, плач, проклятья...»

Дорогу на Заславль, по которой привозили обреченных людей, местные селяне назвали «дорогой смерти». По ней проследовали за те годы десятки тысяч. Сколько их было точно, кто они — один из вопросов, ответить на который должна правительственная комиссия, созданная по решению Совета Министров Белоруссии.

КТО ВЫ, ЛЮДИ?

— Сегодня нет никаких сомнений, что здесь произошла страшная трагедия, — говорит следователь по особо важным делам при прокуроре БССР Я. Бролиш. — Кто палачи? Кто жертвы?

Язеп Язепович возглавляет следственную группу. Он родом из Елгавы, где живут его мать, родные. В 1972 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина. Женат, двое детей.

— Расследование ведется по трем направлениям: опрос свидетелей, изучение архивов НКВД (их еще надо получить, есть ли они?) и эксгумация в Курапатах с судебно-медицинской и криминалистической экспертизой.

Возможных свидетелей более ста. Дали показания десятки. В связи с расследованием уголовного дела, возбужденного прокуратурой БССР по факту выявления захоронений в лесном массиве Курапаты, нашей след-

ственной группой проведена эксгумация. Научное исполнение работ выполнили археологи Института истории АН БССР под руководством старшего научного сотрудника З. Позняка.

— Что, хотя бы предварительно, можно сказать о трагедии, разыгравшейся здесь, в предместье Минска?

— Какие-либо выводы делать преждевременно. Но показания свидетелей, первые результаты эксгумации говорят: доказательств, опровергающих версию, что здесь были расстреляны гражданские лица в годы сталинских репрессий, нет.

— Давайте, отойдем от официальных оценок, поразмышляем о том, кем могли быть жертвы.

— Вполне возможно, что большинство не проходило суда, попало и мес-

ту гибели «напрямую». Это были люди с невысоким социальным статусом, в основном крестьяне, хотя в одном из захоронений, где проводилась эксгумация, судя по всему, находятся представители интеллигенции. Многое говорит за то, что большинство погибших — жители Белоруссии, в том числе ее западных областей, воссоединенных с республикой в 1939 году.

— А могут ли среди жертв оказаться жители Прибалтики, конкретно — Латвии?

— Не исключено.

Свой последний вопрос я задал неспроста. Среди шести захоронений, которые подверглись эксгумации, три датируются — «после 39-го года». Таких в Курапатах немало. А главное: есть документальные свидетельства «латышского следа». Речь идет о найденных двух экземплярах обуви с надписью на латышском: «Rīga 1939» (резиновые галоши) и «Kvadrāts Rīga 41» (кожаный туфель).

— В апреле этого года во время прокладки через урочище газовой траншеи была обнаружена могила, в которой кроме галош с маркировкой советских фабрик найдено два экземпляра обуви с латышскими клеймами, — рассказал мне во время одной из наших встреч Зенон Позняк, чье имя уже известно читателю. — Я уверен: в Курапаты привозили и людей из Прибалтики. Об этом свидетельствуют некоторые очевидцы. Следствие в самом разгаре, и, к сожалению, не все пока можно предать гласности. К тому же не все свидетели, как это ни покажется кому-нибудь странным, хотят быть названными.

Не могу не согласиться с Зеноном Станиславовичем. Во время сбора материала о курапатской трагедии однажды столкнулся с подобной просьбой. Пользуясь случаем, прошу его подробнее рассказать, к каким выводам он, лично, пришел после эксгумации, в которой группа археологов, возглавляемая им, отвечала за научное исполнение работ.

— Захоронения в Курапатах появились во второй половине 30-х годов. Конкретно — не раньше 37-го. Причем в западной и юго-западной частях территории расстрелов — после 39-го. Всего на сегодня мы обнаружили 510 захоронений, каждое из которых стало могилой для сотен, а то и тысяч человек. Некоторые достигают десяти метров в длину, при глубине до трех. Забивались они жертвами плотно... Около сотни (если не больше) могил засыпали при прокладке газотрассы, рубке леса. Множество могил исчезли, когда в конце 50-х — начале 60-х годов через лес прошла кольцевая дорога. Возможно, и в 40-х во время вырубки, трелевания и подсадки леса. Реальное количество захоронений в Курапатах могло достигать страшной цифры — 900...

Теперь некоторые выводы по результатам раскопок шести захоронений, где обнаружены останки множества людей. Все они принадлежали к гражданскому населению, уроженцы различных районов Белоруссии (некоторые, возможно, выходцы из Прибалтики). Большинство, судя по обуви, остаткам одежды и предметов индивидуального пользования — крестьяне, рабочие, мелкие служащие, сельская интеллигенция. Характер найденных вещей свидетельствует: люди, ставшие жертвами (среди них немало женщин), родной дом покинули незадолго до смерти, явно собираясь в дальнюю дорогу. Это наталкивает на мысль, что их расстреляли без суда. Убивали выстрелами в голову (в основном, в затылок) из советского револьвера системы «Наган». Гильзы от этого оружия найдены во всех вскрытых захоронениях.

Очень важная деталь: кто-то подвергал до нас эксгумации раскопанные могилы. При этом, хотя она и выполнялась небрежно, были извлечены пласты захороненных. Кто это сделал и с какой целью? Замести следы страшного преступления? Значит, уже тогда знали, что творили?!

...Курапаты стали местом смерти 250 тысяч людей. Личное мнение Позняка: цифра превышает 300 тысяч...

— Для меня нет сомнений, что в урочище в большинстве своем лежат в земле простые люди, расстрелянные работниками НКВД, — сказал мне в разговоре по телефону народный художник СССР Н. Савицкий. — Конечно, окончательные выводы правительственной комиссии, членом которой я являюсь, еще впереди, но меня убеждают в таком мнении вещественные свидетельства, найденные при эксгумации, на которой я присутствовал.

Я попросил дать оценку курапатской трагедии лауреата Ленинской премии Василя Быкова, который также является членом комиссии, созданной по решению правительства Белоруссии.

— Это массовое убийство — одно из страшных свидетельств сталинского террора, о котором большинство знает лишь из газет, а теперь и книг. То, что произошло здесь, говорит: в те годы гибли не только лучшие люди в партийном руководстве, лучшие представители интеллигенции, командный состав Красной Армии. В большинстве своем шли в могилы сотни тысяч рядовых, ни в чем не повинных людей, простых крестьян.

Курапаты не исключение. В каждом областном центре нашей республики, уверен, есть места массовых казней сталинской поры. Ни одно из тех преступлений не должно остаться нераскрытым. Много лет в стране действовали силы (они действуют и теперь, разве что другими методами), очень старавшиеся спрятать давние дела под покров «секретности», утаить от народа свои кровавые следы. Мы должны помнить о них, об изнуренных рабочих, голодных колхозниках, первых народных интеллигентах, мужчинах и женщинах, которые с пулей в затылке ложились в ими же выкопанные ямы, и последняя их мысль была не проклятье, не протест, а единственное и трагическое — «за что?».

Они уже никогда не услышат ответ на свой вопрос, но ответ на него должны понять мы.

...И КОЕ-ЧТО ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Некоторые из них живы. Те, кто исполнял людоедские приказы о «высшей мере». Об одном из них — некоем Караулове — рассказал мне Зенон Станиславович. Тот сошел с ума. А вот более типичный случай: «Я знаю палача моего отца. Он живет в Минске, имеет правительственные награды...»

— Установление личности погибших в данном деле более важно, по-моему, чем поиск палачей, — высказал свое мнение в разговоре Язеп Бролиш. — Люди имеют на руках официальные свидетельства о смерти близких, осужденных в сталинское время. Но где те приняли смерть? Где захоронены? Люди ждут нашей помощи. А к исполнителям расстрелов закон, за давностью лет, вряд ли будет суров.

У тех, чьи родные стали жертвами сталинских репрессий, мнение порой отличное от следовательского: «Считаю, что надо писать про них, вершить над ними людской суд». Не согласиться с этим трудно. Но вместе с тем высшая справедливость видится и в установлении личности каждого погибшего, увековечении их памяти, в возможности сообщить родственникам: место смерти — Курапаты...

Людская память... Не могу не привести одно свидетельство, помогающее более полно представить моральный облик тех, кто творил неправедный суд в Курапатах. Пожилой женщине, рассказавшей эту историю, в то время было всего одиннадать лет...

Детвора, человек семь, пролезла под забор, нацеливаясь на богатые россыпи ягод. Неожиданно раскрываются ворота, расположенные неподалеку, и на территорию запретной зоны въезжает легковушка. Следом — «черный воронок». Детвора как один — к забору, к лазу. Перепуганная девочка, растерявшись, прячется за куст. На ее глазах свершается страшное — массовое убийство, бойня, то, чего ей никогда не забыть, что будет напоминать ей и полвека спустя нервными приступами.

Из «эмки» выходят четверо в штатском. Настроение у них хорошее, улыбаются, шутят, подходят к вырытой заранее яме. К ней же подводят первую партию людей из «воронка». Те пока еще ничего не подозревают. Крики, леденящие душу, начинаются с первыми выстрелами. Четверо из наганов хладнокровно расстреливают людей. Упали в яму последние жертвы, а конвоиры подталкивают к ней следующую группу обреченных. Хладнокровно пристреливают в затылки, поигрывая наганами, нелюди, на зеленую траву обильно кропится кровь человеческая... Не каждому взрослому под силу такое испытание. Девочка приходит в сознание только под утро...

— Несомненно, это были люди из энкавэдистского начальства, любители острых ощущений. Ездили на расстрелы, как на рыбалку, к примеру, — так резюмировал в разговоре со мной эксперт МВД рассказ свидетельницы развлечений палачей.

Они действовали по указанию великого чудотворца, который еще на XVI съезде ВКП(б) подчеркнул: репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления. Вот и руководство к действию...

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Лес молчал. Свет ранней луны лег на лицо незнакомца, неподвижно сидящего у сосны. Оно было залито кровью...

Разве мог подумать минчанин В. Ермолович, очевидец страшной этой картины в предвоенные годы, что скульптор-любитель изобразит этого несчастного в гипсе? Что люди установят скорбную фигуру в Курапатах, положат к ней цветы и проведут здесь сорокатысячный митинг в память жертв сталинских репрессий? Но и участники митинга не могли предположить, что самодеятельный памятник — всплеск боли и гнева народного — кому-то станет костью в горле и вскорости исчезнет. Кому? К. к не вспомнить уже приведенные мною слова Василя Быкова: «...в стране действовали силы (они действуют и теперь, разве что другими методами), очень старавшиеся спрятать кровавые дела под покров «секретности», утаить от народа свои кровавые следы».

Кому же помешал скромный памятник, установленный в лесу? И чем? Что напомнил людям: Курапаты не место для застолья, веселья, здесь кости человеческие травой поросли! Как рассказал мне Зенон Позняк, он поинтересовался у председателя Минского райисполкома П. П. Сикорского, почему убран памятник? Тот сослался на указание правительственной комиссии. По свидетельству члена комиссии И. С. Неделяя, такое указание не отдавалось. Значит, убрали по своей инициативе, от греха подальше. Возможно, уничтожили. Что дальше?

А дальше вот что. После публикации в «Літаратура і мастацтва» о трагедии в Курапатах Зенон Позняк решил проверить свидетельства очевидцев о том, что немало людей ушло в могилы в годы репрессий и в Лошице, ныне предместье Минска. Правда, здесь давно собирались делать автостоянку, но дело не двигалось. Зенон Станиславович с помощниками поехал туда после митинга минчан и — глазам своим не поверил: на месте грушевого сада, холма, пересеченного, как говорится, рельефа, теперь была ровно спланированная засыпанная песком, крупным щебнем огромная площадка. Под ней и захоронили все отметки, которые о многом могли сказать археологу. Позняк попытался сделать пару пробных шурфов, но найти захоронение в таких условиях — что иголку в сене. Не вторые ли Курапаты поспешили закрыть от людей? Хочется считать, что это просто совпадение...

А вот почему власти не давали разрешения на проведение митинга на месте расстрелов в Курапатах? Что за этим? А когда стало ясно, что митинг

все же состоится, решили провести «свой», официальный, в центре города. Собралось несколько сот человек, а в Курапатах, несмотря на отдаленность от центра, да и от города, десятки тысяч. Вынужденный выступить на стихийном митинге, секретарь горкома партии П. К. Кравченко, говоря о черных днях сталинизма, явно не к месту употребил слово «ностальгия», вызвав возмущение людей. Оговорился, конечно. Правда, он был вынужден признать, что такие митинги нужны, но... это не помешало властям наложить штраф на его организаторов. А в городе накануне усиленно распространялись слухи: митинг собирают националисты на месте, где расстреляны фашисты-каратели. Делались и делаются попытки всячески очернить тех, кто будит память людей.

Так что, убавим оптимизм: противодействие десталинизации очень чувствуется. И в давлении на лиц, связанных официально с расследованием трагедии тоже. Человек, который во время нашей первой встречи пылал негодованием по поводу зверств НКВД в Курапатском лесу, спустя две недели пожаловался, что, если не установят по документам личности погибших, трудно будет с уверенностью сказать, кто лег там в землю под пулями палачей. И это при десятках документально запротоколированных свидетельств очевидцев! При том, что выяснено официально: в этих местах гитлеровцы людей не расстреливали. И каково было слышать: «Кто знает, может они казнены законно...» Законно! Несколько сот тысяч?! О каком законе идет речь?

Не будем спешить. Будем верить, что следствию передадут нужные документы НКВД и занавес забвения над трагедией в Курапатах полностью поднимут. И кто знает, возможно, мы узнаем и имена наших земляков, которые, не исключено, прошли свои последние шаги в этом страшном лесу под Минском. А пока — следствие продолжается...

Минск—Рига

Д. Шатин. ***

Артур ПРИЕДИТИС

СУДЬБА НЕ СТРАННОГО ГЕНИЯ

Дешевое непрочно. Быстрое понимание — лишь признак пошлости понимаемого.

Ф. М. Достоевский

Владимир Набоков писал: «...гений всегда странен; только здоровая посредственность кажется благородному читателю мудрым, старым другом, любезно обогащающим его, читателя, представления о жизни».

Разумеется, неверно было бы утверждать, что Райниса читали только те люди, которые принадлежат к весьма расплывчатой, но всеми, однако, хорошо понимаемой категории «благородных читателей». С творчеством Райниса знакомились разные люди, и многие из них убеждались в его гениальности. Неожиданно единственно то, что никто и никогда не говорил о странностях Райниса.

Райнис никогда не знал «трудностей признания», как сказал Виктор Шкловский о Маяковском, так как никогда не довелось ему побывать в роли непризнанного поэта. Но правда также и то, что в роли «странного гения» он тоже не был.

Уже с самого начала истолкование личности Райниса и его творчества развивалось по весьма необычному пути.

Еще при жизни Райнис публично был признан гением, что встречается очень редко. Однако в одном этом обстоятельстве еще нет ничего необычного.

Необычно то, что гением его стали считать задолго до написания художественно значимых произведений, и самое странное — вообще до опубликования его первых значительных работ

Так, например, в 1901 году, когда еще не вышли «Дальние отзвуки в синем вечере» (первый сборник стихов, изданный в 1903 г.) и в литературных кругах Райнис был известен преимущественно как переводчик «Фауста», журналист и муж известной поэтессы Аспазии, литературный критик Викторс Эглитис признавал: «Райнис со своими переводами, так же как и с оригинальными произведениями, есть нечто чрезвычайно оригинальное в нашей литературе». В свою очередь, другой критик — Зелтматис в 1907 году не побоялся объявить, что «во главе всей латышской литературы стоит гениальный Райнис».

Эпитеты были быстро замечены. Началось даже нечто вроде эпитетомании. В начале 1908 года Райнис получил письмо, в котором он был назван «поэтом-Марксом».

Восхвалять Райниса стали очень рано. К этому быстро привыкли, и это не могло не иметь определенных последствий.

Вольтер как-то сказал, что Данте все хвалят, но мало кто читает. Это наблюдение поддержал О. Мандельштам: «...слава Данте до сих пор была величайшей помехой к его познанию и глубокому изучению и еще надолго ею останется».

В латышской культуре нет, на мой взгляд, другой личности, представление о которой было бы настолько поверхностным, односторонним, хрестоматийно отшлифованным, лишенным всей душевной хрупкости, личностной и идейной сложности и противоречивости. Это представ-

---

Недавно была завершена работа над одним из фундаментальнейших трудов латышских филологов — академическим изданием тридцатитомного Собрания сочинений Я. Райниса. Это издание послужило основой для некоторых размышлений о судьбе личности и творчества Райниса

ление, оставляющее нам только неживую, бездушную схему, приторные комплименты, без глубокого и осмысленного прочтения и перечитывания.

Райнис с его непрерывно ищущим отношением к жизни, искусству, политике, человеку, морали принадлежит к тому поколению, о котором Андрей Белый писал: «Во многом непонятны мы, дети рубежа; мы ни «конец» века, ни «начало» нового, а схватка столетий в душе; мы — ножницы меж столетиями, нас надо брать в проблеме ножниц, сознавши: ни в критериях «старого», ни в критериях «нового» нас не объяснишь».

Сам Райнис также осознавал свою принадлежность к «переходному поколению», к так называемым «детям рубежа». Об этом свидетельствует его переписка с Аспазией в конце XIX века.

Райнис любил самоанализ. Итоги его размышлений часто отражались в стихах, таких, например, как:

Я сам, сотворив себя,
Себе окруженье создал,
Я сам сгибал свою судьбу
По собственному разуменью,
Как мне хотелось.

(Пер. А. Корчагина)

У критики же было другое мнение. Стереотипность мышления критики наглядно выражается в написанных в разное время и разными авторами предисловиях к избранным трудам Райниса на русском языке.

В книге, изданной в Москве в 1955 г., говорится: «Поэзия Райниса в ее основных, наиболее характерных чертах со всем ее неповторимым своеобразием и силой воздействия порождена той великой эпохой революционного подъема, который переживала Латвия вместе со всей Россией в конце XIX и начале XX века. Райнис прежде всего — певец революции 1905 года».

Райниса не потрудились перечитать и спустя почти тридцать лет. В 1981 году в Ленинграде в серии «Библиотека поэта» вышла книга избранных трудов Райниса. В предисловии читаем: «Слово Яна Райниса неразрывно связано с этикой социализма. Он не только воспитатель героизма, самоотверженности и энтузиазма в своих современниках, его взгляд проникает в далекое будущее, его мысли обращены к рождению нового человека, всесторонне и гармонически развитого, сильного нравственно и физически, обладающего богатым миром чувств и мыслей. (...) События 1905 года стали для Райниса главным политическим и идейным центром, без которого его поэзия немыслима».

Этот демагогически-социологизированный пафос, столь ненавистный самому Райнису, разглядел в нем и популяризировал только поэта-трибуна. Творчество же Райниса как воплощение высокой духовности остается без внимания.

Разумеется, нельзя отрицать гражданской и социально-политической тематики в творчестве Райниса. Но мы много теряем, замечая только этот аспект его творчества.

Тематика поэзии и драматургии Райниса и многогранна, и в то же время в известном смысле традиционна для литературы: жизнь и смерть, любовь, вечность и скоротечность времени, природа, труд, творчество, судьба поэта, дружба и одиночество, мечты и грезы, интернационализм и право наций на самоопределение, война, истина и ложь, духовный рост человека, невежество, мещанство, а также самоотверженность на благо процветания своего народа и всего человечества.

Анна Ахматова для одного из своих переводов работ Райниса выбрала следующие насыщенные по своей эмоциональной тональности строки:

Кто услышит наши стоны?
И кому нести нам скорби?
С дрожью ветер их минует,
С болью долу ниспадая.

Деть куда страданья эти?
Грудь моя от них сгорает.
На траву ли я прилягу —
И трава от них чернеет.
Над ручьем ли наклонюсь я —
И ручей пересыхает.
Встал с земли: «Послушай, солнце,
Пусть к тебе летят страданья, —
Разгорись, сожги все горе...»
Солнце путь свой продолжает.

Вспомним написанное Райнисом в 1912 году стихотворение «Класс основной, тебе»:

Класс основной, тебе,
Кто будет жить, расти,
осуществлять, творить,
Пока в сердцах людей
всем ранам не зажить...

(Пер. Н. Манухиной)

Это стихотворение будто бы специально создано для того, чтобы быть примером социально-политического пафоса (и действительно, чаще всего оно использовалось именно в этих целях). Но теперь, читая в 24-м томе академического Собрания сочинений Райниса дневник 1912 года, выясняешь, что стихотворение написано как полемическая реакция на патетическое пустословие, на слепоту и тенденциозность критики. Психологическим основанием появления этого стихотворения была неприязнь к социологическому пафосу.

Тем не менее все продолжали восхвалять Райниса за его идеологическую активность и близость к общественно-политическим событиям. Сам Райнис открыто не протестовал, прилежно выслушивал и так же прилежно в письмах благодарил за услышанные слова.

Самое печальное то, что почти никто так и не поинтересовался, что Райнис думал на самом деле.

Принято считать, что существует два рода публицистики. В публицистике первого рода выдвинутые вопросы могут решаться административным путем. В публицистике же другого рода рассматриваются так называемые вечные вопросы о совести, духовности, морали, отражаются раздумья о человеческой жизни вообще, не входящие непосредственно в область компетенции какого-либо директивного органа.

Подобным же образом может быть подразделена и литературная критика. Одна ее часть руководствуется различными политическими, идеологическими, социально-экономическими соображениями и связывает анализируемый материал с конкретными внешними обстоятельствами. Другая часть критики стремится рассматривать литературу в плане духовных потребностей человека, обращаясь к духовному заряду художественного произведения.

Можно было бы условно обозначить эти два направления как социологическую критику и критику души, понимая под последней попытку раскрыть внутренний пафос исканий человека. Райнис всегда очень остро улавливал различие между двумя направлениями.

К сожалению, чаще всего отношения с критикой причиняли Райнису болезненные переживания. Он ясно видел, какой путь избрали критики для рассмотрения его произведений. Они встали на социологический путь. Идущим по этому пути, как правило, неинтересны и не нужны «странные гении».

Хвалебные эпитеты критики повлияли на читателей. Не остались они без последствий и в сознании самого Райниса. Заметно укрепилось его самосознание. Но в то же время появилась тревога из-за столь ранней славы, которая могла основываться на поверхностности и оказаться кратковременной.

О значении своей литературной и общественной деятельности Райнис стал шире высказываться в своем дневнике в первые годы швейцарской эмиграции. Тема эта нашла отражение во многих дневниковых записях, показывая его истинное, неподдельное отношение, сформулированное без корректной галантности. Так, например, 22 мая 1906 года он пишет: «Великие люди живут только после смерти, при жизни их мало понимают и много им завидуют....». В этом явлении поэт усматривает своего рода «тактику»: «После телесной смерти им прощают их величие, так как теперь его можно использовать как оружие против живых, которые начинают подниматься до величия».

В мае 1908 года Райнис делает в дневнике набросок более обширной статьи под названием «Вопрос о славе». Во введении он хочет сослаться на фразу Горация: «Exegi monumentum» («Я памятник воздвиг»), на стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Райнис с сожалением констатирует, что подход Горация и Пушкина к славе безразличен для современного ему общества: «Слава, та-

ким образом, нужна как реклама, как организующий момент, как вспомогательное средство, позволяющее поэту производить впечатление на еще более широкие массы». Райнис признает, что слава может служить «побудителем для себя работать еще больше», а также может являться «оружием, полезным для борьбы и для своего класса». Райнис очень хорошо сознавал обманчивую природу славы: «Чем больше развивается индивид и чем более великим становится, тем более одиноким он себя чувствует, тем сильнее тоска тянет его назад к массам, к народу, к пролетариату. Счастье индивида — только в общности».

Однако Райниса все чаще охватывало беспокойство. Он чувствовал, что настоящее понимание его искусства придет гораздо позже.

В этом смысле примечателен комментарий М. Гершензона к упомянутому стихотворению Пушкина. Гершензон выстроил свой комментарий как монолог Пушкина: «Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечат мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд...»

Райнис, так же как и другие гении, был человеком, центром духовного развития которого чаще всего был его субъективный мир, его творческий труд.

Софье Андреевне Толстой лучше понять характер и «странности» мужа помогла прочитанная ею биография Бетховена. А тома писем и дневников академического собрания сочинений могут помочь критике глубже понять Райниса, так как столь широко эти тексты публикуются впервые. Александр Блок призывал: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним».

Янис ЗАЛИТИС

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В СУДЬБЕ КАРЛА СИКСНЕ

13 апреля 1906 года в № 23 газеты «Полтавщина» было опубликовано письмо в редакцию под заглавием «В защиту современных христианских мучеников». В тот же день это воззвание было прочитано на предвыборном собрании выборщиков Полтавской губернии, которые и внесли изложенную в нем просьбу в свой наказ избранным ими членам Государственной думы: «Мы требуем, чтобы никто не наказывался за свою веру, чтобы не было принуждения в военной службе тех христиан, которые по глубокой вере в учение Христа не могут служить родине оружием».

Составил воззвание И. Трегубов, а своими подписями его поддержали еще 15 единомышленников.

Иван Трегубов (1858 — 1931) — известный сторонник и активный последователь толстовского учения. В 1893 году он покинул Московскую духовную академию и начал работать в книгоиздательстве «Посредник», распространявшем в народе за минимальную плату художественно-религиозные сочинения Л. Толстого и близкие ему по духу произведения других писателей. В 1896 году вместе с В. Чертковым и П. Бирюковым он подписал и распространял «обращение к обществу» «Помогите!». Выраженный в нем призыв принять участие в судьбе духоборов и обличение царских жестокостей были одобрены Л. Толстым, который со своей стороны выступил в иностранной прессе с протестом против политики правительства в отношении духоборов.

Идеи религиозных сектантов — крестьян-духоборов, в частности, их отношение к «властям», твердый отказ от прохождения военной службы, несогласной с их нравственными убеждениями, — во мно-

гом были близки толстовству, и поэтому защита духоборов, обреченных на разорение и гибель, стала делом совести толстовского движения.

В 1897 году против лиц, подписавших обращение, начались прямые репрессии. И. Трегубов и П. Бирюков были высланы в Латвию (до разрешения выехать за границу И. Трегубов находился в Гольдингене (Кулдиге) и в Гробине, П. Бирюков — в Бауске), В. Черткову был предоставлен выбор между ссылкой в одно из местечек Прибалтийского края и высылкой за границу. Он поселился в Лондоне, где вскоре организовал издательство «Свободное слово» для печатания запрещенных в России царской цензурой произведений Л. Толстого, а также материалов о студенческом движении и сектантстве. Под первым номером в чертковском издательстве была выпущена его брошюра «Напрасная жестокость» с подзаголовком «О том, нужно ли и выгодно ли для правительства делать мучеников из людей, по своим религиозным убеждениям не могущих участвовать в военной службе», под третьим — упомянутое воззвание «Помогите!» (обе — с послесловием Л. Толстого).

Материалы, разоблачавшие правительственный гнев против отказавшихся солдат, особенно в начале деятельности издательства, занимали в ней особое место. Можно отметить такие издания, как «Мой отказ от военной службы» А. Шкарвана, «Письма Петра Васильевича Ольховина» (с письмом Л. Толстого к начальнику дисциплинарного батальона), «Е. М. Дрожжин, его жизнь и смерть» (составленное Е. Поповым, с послесловием Л. Толстого) и другие. (В каталогах издательства В. Черткова был введен даже специальный раздел, в котором указывалась литература, рекомендуемая для солдат, в нее включены и многие сочинения Л. Толстого.)

И. Трегубов (так же как и В. Чертков) вернулся в Россию лишь после революции 1905 года, написал ряд статей о русском сектантстве, был в тесной переписке с Л. Толстым до его смерти в 1910 году. Хотя высланные толстовцы юридически обвинялись главным образом в связи с духоборством, основным их «преступлением» безусловно была проповедь учения Л. Толстого, которую в различных формах они продолжали и среди латышского населения.

«Воззвание в защиту современных христианских мучеников» И. Трегубов сразу же отправил Л. Толстому с просьбой проредактировать, дополнить и похлопотать об издании его отдельной брошюрой.

«Мне очень хочется прибавить к этому от себя несколько слов, — в ответ писал Л. Толстой, — и поместить письмо одного замечательного человека из Пскова, тоже отказавшегося от военной службы»[1].

«Думаю, что вопрос, предлагаемый к обсуждению в этом воззвании, имеет, особенно в наше время, великую важность...» — говорится в письме писателя к редактору петербургской газеты «Слово», на страницах которой 3 мая 1906 года воззвание было напечатано вместе с сопроводительным письмом Л. Толстого. В том же году статья Л. Толстого «Заметка к воззванию И. М. Трегубова» в Полтаве была издана в брошюре «О военной службе. С предисловием И. Трегубова».

С незначительными сокращениями и редакционными поправками вошло в статью Л. Толстого и первое письмо «замечательного человека из Пскова» — латыша Карла Сиксне.

Имя К. Сиксне писателю было знакомо уже несколько раньше — об отказе брата подчиниться воинской повинности в марте 1906 года Л. Толстого известил Рудольф Сиксне. Л. Толстой без промедления обратился к адвокату В. Маклакову для того, чтобы в случае необходимости использовать его услуги в защиту К. Сиксне.

Упомянутое письмо в Ясной Поляне получено 12 апреля, и в нем, между прочим, сказано: «На воле недавно перед призывом (это было в конце 1902 года) я наткнулся на Ваши сочинения «Исповедь» и «Во

[1] 76, 50. (Ссылки на письма Л. Толстого даются по изданию: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90 томах. М. — Л., 1928—1958; при цитатах указываются цифрами сначала том, затем страница.)

что я верю» («В чем моя вера». — **Я. З.**), кем-то переписанные, а потом через одного узнал адрес издателя «Свободного слова» и стал выписывать и получать Ваши сочинения, по которым и пришел к убеждению, что война есть зло, почему и отказался взять винтовку и учиться убийству, за что полковой суд осудил меня на 2 года в дисциплинарный батальон»[1].

Заканчивается письмо словами: «Внутри я очень спокоен и готов за истину умереть», к ней приложены также «мысли о Боге», которые, по мнению Л. Толстого, «показывают в их авторе человека, много думавшего и глубоко религиозного».

Полученный ответ убедил К. Сиксне в верности выбранного им пути.

«Милый брат Карл Петрович, — писал Л. Толстой, — очень рад был получить ваше письмо. Не буду говорить вам о той радости, которую я испытываю при мысли о вашем поступке, п[отому] ч[то] знаю, что такие поступки совершаются для Бога, которого мы можем сознавать в себе, и что поэтому людские суждения об этих поступках не имеют значения. Адвокат мне пишет, что в вашем деле защита невозможна, но если бы понадобилось, то он взял бы ее на себя бесплатно. Пожалуйста, сообщите мне — если вам не неудобно — о себе все, что было и что будет. Ваши мысли о Боге я вполне понимаю и не несогласен с ними». Вместе с письмом отправлено несколько сочинений писателя: «Круг чтения», «О жизни», «Для чего мы живем» и «Мысли о Боге».

В дальнейшем их переписка стала регулярной, и она дает возможность заглядывать в некоторые факты биографии К. Сиксне.

Родился он в 1884 году в д. Пишего Папиковской волости Полтавской губернии, куда из Лифляндской губернии лет 30 тому назад переселились его безземельные родители.

Образование он получил весьма минимальное, а в латышское приходское училище не был принят вследствие своего вероисповедания. До октября 1905 года работал учеником телеграфиста на железной дороге, здесь же от помощника начальника станции получил некоторые сочинения Л. Толстого, которые тщательно прочел и переписал. Существенную роль в формировании его взглядов сыграла баптистская среда, под влиянием которой он находился с раннего детства. После призыва, несмотря на отказ взять в руки оружие, К. Сиксне был отправлен в действующую армию, а после повторного отказа — в дисциплинарный батальон.

Описывая условия жизни в дисциплинарном батальоне, он рассказывает о командире роты капитане Павленко, который «в Лифляндии расстреливал, по рассказу самих солдат, множество латышей. Даже он сам для приехавших одно время в полк созвал всю роту и говорил, что для нашей роты «трудная задача» усмирить взбунтовавшихся латышей...» Узнав о поступке К. Сиксне, капитан назвал его сумасшедшим, которого надо отдать под расстрел.

Последнее письмо Л. Толстому послано 1 мая 1907 года из Заамурской железнодорожной бригады: «Жить я хочу только разумной жизнью, хотя бы несколько дней или часов, тою жизнью, которая имеет разумный смысл и к которой стремлюсь с любовью ко всем, тою жизнью, которая выражена в каждом Вашем письме... Получая от Вас эти письма, я постоянно получаю новые силы и толчок к той жизни, где нет вражды и зла...»

Свою поддержку и понимание вложил Л. Толстой в слова: «Помогай вам Бог всегда вызывать в себе этот подъем, при котором ничто не страшно и ничто не враждебно, а все люди милы как братья, что бы они ни делали. Посылаю вам полученное мною в один день с вашим письмо брата (И. Кудрина. — **Я. З.**), уже 2-й год содержавшего[ся] в тюрьме за отказ от военной службы.

Любящий вас Лев Толстой.
17 мая 1907

Не нужно ли вам чего? книг? денег?»

---

[1] Здесь и в дальнейшем использованы рукописи писем Л. Толстому, хранящиеся в Государственном музее Л. Н. Толстого: Фонд Л. Н. Толстого. 1. А—7. Переписка

Умер К. Сиксне 20 июня 1908 года от чахотки в томской тюремной больнице, когда ему было 24 года.

Имя его неоднократно встречается и в знаменитом дневнике-хронике «Яснополянские записки» домашнего врача и секретаря Л. Толстого Д. Маковицкого. Отсюда можно узнать, что в центре внимания писателя в это время были еще пять человек, судьба которых похожа на судьбу К. Сиксне.

Упоминается здесь также одно «очень милое» письмо, полученное в январе 1906 года. Автор его — молодой офицер из Либавы (Лиепаи) И. Шальме, который уволился с военной службы. «Единственной причиной была та, — пишет он, — что я слишком сильно чувствовал презрение к этой службе (она особенно «теперь» безнравственна), тяжело мне было носить погоны, не мог я ими гордиться». Разъяснение своим чувствам И. Шальме искал в сочинениях Л. Толстого. «У меня явилось сильное, неотложное желание приобрести Ваши драгоценные сочинения «В чем моя вера» и другие, название которых я и не знаю».

В начале 1907 года И. Трегубов разработал еще одно воззвание и прочел его Л. Толстому. Но попытки поднять вопрос об облегчении наказаний отказавшимся от военной службы во имя требований совести на обсуждение в Государственной думе были безрезультатными. Напечатать воззвание на взялась ни одна московская газета.

Причина этому очень проста — отказ подчиниться воинской повинности царское правительство квалифицировало как одно из самых тяжелых государственных преступлений. В качестве характерного подтверждения этого можно привести выписку из одного доклада цензора в Главное управление по делам печати, сделанное 22 февраля 1906 года по поводу брошюры Л. Толстого «Где выход?»: «...перечитывая его сочинение «Где выход?», невольно приходишь к мысли, что призыв автора к населению, чтобы оно поголовно отказывалось бы от поступления в солдаты и тем положило бы конец самому существованию современного государства, основанного на порабощении слабого сильным, равносилен призыву к бунтовщическому действию и к ниспровержению существующего государственного и общественного строя... Это была бы такая форма политической забастовки, которая для государства оказалась бы чувствительнее и опаснее, чем все до сего времени бывшие забастовки»[1].

В мае 1910 года Л. Толстой получил письмо от Р. Сиксне, в котором рассказывалось о влиянии на него и его друзей, бывших баптистов, умершего брата и религиозно-нравственного учения писателя. По поручению Л. Толстого ему было отправлено ответное письмо и требуемые сочинения — «Не могу молчать» и «Ответ синоду».

«Да когда же это кончится?» — яростно восклицал Л. Толстой в статье «Одумайтесь!» во время русско-японской войны. — И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: «Да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, радакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов».

Так обращался к народу, да еще в пору шовинистического угара, не пацифист, а протестант и бунтарь.

Л. Толстой упорно искал ту силу, которая способна преобразить мир и в конце концов избавить человечество от ужасов войны. В обосновании своих утверждений писатель указывал на Е. Дрожжина, П. Ольховина и других, отказавшихся от всякой борьбы и строящих свою жизнь по закону «непротивления». Безусловно — они выбрали не единственно правильный путь, но их судьба опять-таки обличает преступность войны и империалистического милитаризма.

И как бы ни относиться сегодня к нравственным утопиям толстовства, нельзя не увидеть в них одного высокого и мудрого — отношения к человеческой жизни как ответственному духовному делу высочайшей ценности.

---

[1] Ковалев И. Из доклада царских цензоров о произведениях Л. Толстого. — «Русская литература», 1960, № 4, с. 172.

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОМ АРТКОНТАКТЕ

Ирена БУЖИНСКА

«АЛЛО?» — «АРТКОНТАКТ» К ВАШИМ УСЛУГАМ...»

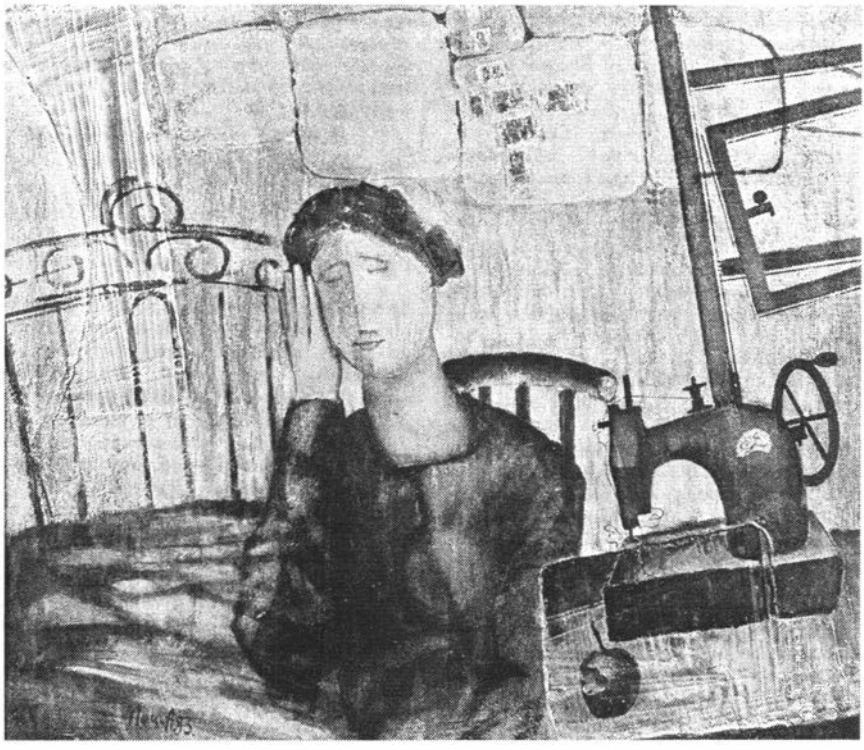
Повода для этой статьи искать не надо: с 12 мая по 12 нюня в Риге проходил фестиваль современного искусства «Артконтакт». Излншне говорить, какое значение это мероприятие могло обрести как для города, так и для всей нашей культуры, если бы .. Впрочем, об этом мероприятии и стоит поговорнть. Поэтому данный разговор будет посвящен не столько самому фестивалю современного искусства, сколько тем проблемам, которые впервые обнаружились с помощью «Артконтакта». Сначала об органнзаторах и программе фестиваля. Организаторами его явились не представители творческих союзов, а горком комсомола и Рижский экспериментальный центр молодежи. Когда за дело берутся специалисты, то эаранее можно предположить удачный исход начинания. Я не вижу ничего плохого и в том, что сейчас искусством хотят руководить все, кого тянет к нему, — при одном лишь условии: «новички» могут сделать это не хуже профессионалов. Но с «Артконтактом» такого не пронзошло. Событием фестиваль не стал, никакого «особого значения» не приобрел. Скорее наоборот. Фестиваль повредил современному искусству, подтвердив бытующее в широкнх кругах общества мнение о «сомнительной репутации» авангарда. Не хочется уделять излишнее внимание описаниям постоянных срывов, неудач, «технических неполадок», которые в большом количестве преподносил посетителям «Артконтакт». Речь должна идти совсем о другом.

О. Царун. Мадонна

Итак, к организации фестиваля приступили люди без знанний и опыта, в актнве которых был только «голый энтузиазм» и... желание быть первыми — во что бы то ни стало. Программа фестиваля тоже родилась не как итог тщательно продуманной подготовительной дея-

тельности, а как плод творческой фантазии личностей, которые и впредь хотят быть нужными искусству. Сами творческие деятели в состав оргкомитета вообще не входили. Поэтому тем более было интересно узнать программу фестиваля. В «теоретическом плане» она не разочаровывала. Чего-чего, а «глобального», крупного мышления организаторам занимать не надо. Цель проведения фестиваля: «ознакомление широкой публики с достижениями, проблематикой, направлениями современного искусства, популяризация художественных течений, для которых характерен поиск новых форм, средств отражения действительности». Я всецело согласна с целью фестиваля, но считаю верным и другое: необходимость поиска путей для достижения столь благородной цели. Но о путях — чуть позже. На самом же деле народ уже давно утратил желание видеть искусство, не говоря уже о том, чтобы искусство народу действительно принадлежало, то есть — было у народа дома, в квартире. Кому, как не Министерству культуры, творческим союзам (а теперь и новой организации — Фонду культуры) заниматься в первую очередь тем, чтобы искусство действительно принадлежало народу. Но... достаточно вспомнить, что Министерство культуры реорганизуется, сокращаются штаты и — ничего не меняется. Это только «одна сторона» проблемы! Другую сторону представляют сами художники. Они также недовольны тем, что «искусство не принадлежит народу». Нет ничего постыдного в том, что и художники хотят иметь за работу деньги, но... Закупки не постоянны, заказы — тем более. Порядок и списки закупок еще не являются «государственной тайной» союза и министерства. Борьба с этой «засекреченностью» только начата. Кроме того, важен и вопрос о популяризации. Сейчас есть около 40—50 имен, которые пользуются постоянным вниманием прессы. А другие? Союз художников республики — самый многочисленный творческий союз, в нем около 700 (!) художников, не говоря уж о тех, кто, имея специальное образование, пока еще не члены союза, о «самоучках»-художниках, достигших определенного профессионального уровня самостоятельно. А что же другие? Хуже? Лучше? Но увы! Союз художников только собирается создать бюро пропаганды.

Я хотела бы высказать и свою версию о том, почему появился «Артконтакт». Пока обе стороны лишь думают об этой ненормальной ситуации, некоторые представители народа все же решили действовать, тем более что сейчас появились благостные подходящие для подобных начинаний условия. Их стоит назвать менеджерами, хотя и с большими оговорками. Мы долгое время отвергали необходимость подобных специалистов в нашем социалистическом обществе, а теперь... С нового учебного года при ЛГУ открыт новый факультет, который будет готовить менеджеров самого широкого профиля. Но ведь эти специалисты нужны и здесь и сейчас! Вернемся опять к «Артконтакту», к организаторам фестиваля. Они, не меняя пока профиля своей основной работы, решили заняться решением всех упоминавшихся проблем. Итак, состав оргкомитета: председатель Артур Серебряков, руководитель пресс-центра Виктор Юдкин и коммерческий директор (он же и главный администратор) Лев Молотников. Они же и главные действующие лица и исполнители, а некоторые вышеупомянутые организации оказывали лишь моральную и небольшую финансовую поддержку этому новому, сулящему так много похвал начинанию. То ли интуитивно, то ли каким-то другим дополнительным чувством они поняли, что народ и искусство недовольны, что ситуация все настоятельнее требует решения. Тем более, что наше советское современное искусство на Западе пользуется повышенным спросом, в Москве и Ленинграде западные галереи уже все скупают на корню. И если эта волна докатится и до нашего тихого города, как хорошо было бы заранее быть подготовленными к ее валу. И как хорошо, что помимо союза «к вашим услугам» будет «Артконтакт»! Ведь «Артконтакт» — поистине может все! Почитайте только рекламу и программу фестиваля! Ну хотя бы то, что сказано о ведущей линии фестиваля, об изобразительном искусстве:



А. Лоцман. Сюжет

«1. Будут проведены выставки работ художников Рнги, Москвы, Ленинграда. Каждая нз четырех выставок проводит свою популярнзацнонную программу.

2. Проведение двухдневного теоретического семестра на тему «Социализм н авангард».

3. Заключнтельная направленческая выставка лучшнх работ.

4. Аукцион художественных произведений авангарда 20-х годов (нз частных коллекций) н т. д. . .».

Пожалуй, хватит. Прочитав это восторженное заявление, я начала гордиться, что именно у нас в Риге родился такой замечательный фестнваль современного искусства «Артконтакт». Но вернемся к действнтельностн. Как нн печально, поводов для восторгов было маловато. Произошло то, чего следовало ожндать — хотя мосты к цели были намечены, но конструкция их была шаткой н они не были осуществимы. Все на самом деле проходило намного скромнее, судорожнее — словом, совсем не так, как думалось. Нет, фестиваль состоялся н даже благополучно окончился. Но если «топнли» его сами хозяева, то спасалн гости. Самой интересной была выставка работ ленинградской группы художников. Рижане сделали две экспозиции — живопись разместилась во Дворце культуры железнодорожников, а Дворец культуры ВЭФ был отдан современной графнке Латвии. Если ленинградская выставка все же знакомила с новейшнмн направлениями современного искусства этого города, то на рижской выставке о «поиске новых форм выразнтельности» было трудно говорить. Проблема выставок вообще требует особого разговора. Коснусь, пожалуй, лишь самого острого вопроса — о взанмоотношеннях между членами Союза художников и «свободными» художнпками. Выставка во Дворце культуры железнодо-

рожников стала первой сознательной попыткой совместного экспонирования работ всех художников, невзирая на их дипломы или принадлежность какому-либо творческому союзу. Число последних на выставке было невелико. В связи с этим выделялись работы мало до сих пор известных авторов. К сожалению, выявилось и другое — робость неуверенность, некая растерянность начинающих. Отсутствие четко разработанной концепции выставки привело к тому, что именно этих «свободных» обвинили в «полудиссидентской» направленности, плохом вкусе, подражательстве образцам западного искусства. Но как получилось, что в работах художников русской национальности практически не чувствуется «русского духа»? Впрочем, разговор о русском искусстве вне России, мне кажется, пока в ближайшем будущем не намечается... Мое мнение: некоторые художники сочли лучшим проигнорировать этот фестиваль и потому, что устраивали его представители другой национальности, которые не очень-то хотели знать о существовании культурных традиций другого народа. И программа и пригласительные билеты на открытие фестиваля были напечатаны лишь на одном, русском языке. Недаром этот промах организаторов заметил кинорежиссер Ансис Эпнерс: «Я не чувствую здесь присутствия своей национальной среды, и это меня как латыша больше всего огорчает». Разве не справедливое замечание?

Но продолжим сравнение программы фестиваля с действительностью. Заключительная направленческая выставка не была организована, аукцион из-за отсутствия работ не состоялся, не были закуплены работы ни министерством, ни «народом», контакт с «фирмой» пока тоже не получился... «Алло, «Артконтакт»? — Есть контакт!..» Есть контакт с чем? В чем же дело? Если бы организаторы прежде всего сами себя «ознакомили» с достижениями, проблематикой, направлениями современного искусства... то есть если бы, как нужные искусству люди, будущие менеджеры имели чуть больше знаний обо всем том, что намеревались представить широкой публике, если бы сами, не имея опыта организации мероприятий по искусству (как тут не вспомнить хотя бы Дни искусства со многими многолетними традициями), пригласили бы консультантов и помощников со знаниями и опытом... Да, тогда было бы право сказать, что «Артконтакт» может все! Пока же он лишний раз подтвердил давно всем известное — на одном «голом энтузиазме» далеко не уедешь, тем более сегодня. Тем более в Риге. Стоило ли прикладывать столько усилий, чтобы самим в этом убедиться? Оргкомитет считает, что важны не результаты, куда более важно войти в историю первопроходцами, зачинателями такого нужного дела .. а престиж и репутацию ведь можно поднять в следующий раз! Для этого вам обязательно следует посетить фестиваль современного искусства «Артконтакт»! «Артконтакт» может все! «Артконтакт» — к вашим услугам!» Вот в будущем будет «Артконтакт»! Пора опять стать серьезной. Я обеими руками голосую за идею фестиваля. Голосую за то, чтобы фестиваль современного искусства стал традицией художественной жизни нашего города. Всем сердцем приветствую новые начинания и искренне желаю приложить и свои силы для скорейшего решения проблемы искусства и народа. Стоит ли еще доказывать, что «Артконтакт» нужен? Только я не уверена в другом: насколько нынешний опыт и урок будут использованы членами этого оргкомитета. А ведь именно они уже приступили к организации нового фестиваля..

Главное в том, — и надеюсь, что всем это понятно, — что проблемы требуют неотлагательного решения, и нет ничего плохого, если этому поможет и «Артконтакт». Но впереди снова много сложностей, которые ждут «Артконтакт-89»...

P. S. Для меня лично самым впечатляющим мероприятием «Артконтакта» был теоретический семинар, в котором блестяще выступили искусствоведы из Ленинграда и Москвы. Жаль только, что рижане присутствовали на семинаре как немые наблюдатели, притом в очень небольшом количестве. Подобная ситуация еще раз подтверждает сказанное: контакты нужно уметь организовывать.

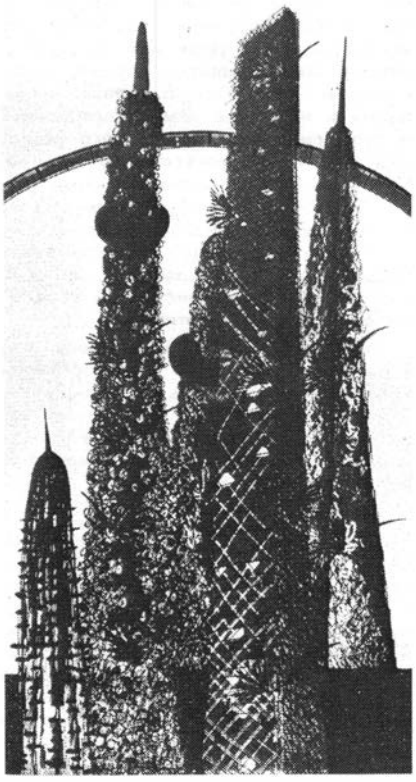
Алексей ИВЛЕВ

ИЗЛОМАННОСТИ

(ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ «АРТКОНТАКТЕ» И ВЕСЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ К НЕМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ)

«Неужели, чтобы стать для них чем-то, я должен жертвовать собственной свободой?» — жалуется на родственников в письме к другу Гельдерлин. Это не бесстрастный вопрос философа — это крик души великого поэта накануне умопомешательства. Это — вопрос каждого Художника, во все века остающийся без ответа. Прогрессирующе безнадежный вопрос.

Три изломанных силуэта на черном фоне — Художника, Музыканта, Поэта. Изломанность судеб, хронический вывих правой руки — подарок учителей.



А. Бетиня. Прятки

Плакат с силуэтами продавался в дни фестиваля в кассе Дворца культуры железнодорожников. Шесть рублей лист. Стоит ли пояснять, что из участников «Артконтакта» его мало кто купил? Те, кто покупал, по-быстрому свертывали его в трубочку: увидят коллеги — засмеют.

Для меня «Артконтакт» начался именно с этого плаката. Точнее — с цены... Хороший плакат, не шедевр, но — хороший, опять же шелкография, опять же — бумага... Но шесть рублей — это слишком, даже при нашем сегодняшнем, офигенно растущем уровне благосостояния.

Некоторые видят причину неуспеха фестиваля в дилетантизме устроителей... А ведь подготовка к нему началась давно, очень давно, так давно, что и не хочется вспоминать... Кто из нас, друзей, не мечтал о таком празднике и десять, и двадцать, и шестьдесят лет назад? Кто, десятилетиями работавший, как принято выражаться, «в стол» (хотя уместнее здесь было бы вспомнить хлебниковскую наволочку), не вынашивал в себе мечту о подобном? Так что предупрежу сразу — то, что праздник не получился, я объясняю не столько дилетантизмом организаторов, сколько чудовищной передержкой самой идеи его. И «грустные размышления» мои будут беспощадно некритичны. Я люблю простые оксюмороны. Я хочу поделиться с вами странной радостью — грустной радостью, потому что от того, что все-таки БЫЛО, веяло грустной радостью Несбывшегося. Вообще нынешний «Артконтакт» можно было бы назвать Праздником Несбывшегося. Еще или уже — покажет время. Во всяком случае, в этом ракурсе «Артконтакт» еще и обвинительная акция. За что — спасибо.

Непонимание этого, несмотря на очевидность, настораживает. И дело не только в Бужинской. Поясню, заранее извиняясь за очевидное.

Как известно, к концу двадцатых годов в нашем обществе начал преобладать универсальный принцип: чем проще (примитивнее) — тем лучше, чем сложнее — тем хуже. Принцип этот (Оруэлл ничего не выдумал!), облаченный в непробиваемый идеологический панцирь ничего не выражающих, но мгновенно, тем не менее, приобретших сакральное значение терминов (для культуры таким ненасытным идолом явилось словечко «соцреализм»), стал путеводной звездой, гарантирующей спокойную жизнь как в культуре, так и в политике, науке, экономике. Единственным условием преуспевания стало лишь полное приятие этого принципа. Это послужило поводом для «демографического взрыва» совершенно особой породы «творческой интеллигенции», бесконечных смердяковых, выпестовываемых инкубатором тоталитаризма.

«Артконтакт» тем и хорош, что познакомил, искренне пытался познакомить с Художниками другого рода — с представителями культуры, существовавшей и существующей в о п р е к и внутренней логике общества. Важно понять: фестиваль был посвящен не «авангарду» — о таком у нас говорить пока рано, а антитоталитарному, антибюрократическому по своей сути искусству. В этом и сила, и неожиданная слабость его.

1. «...И ЯРКОЮ СТЕНОЙ»

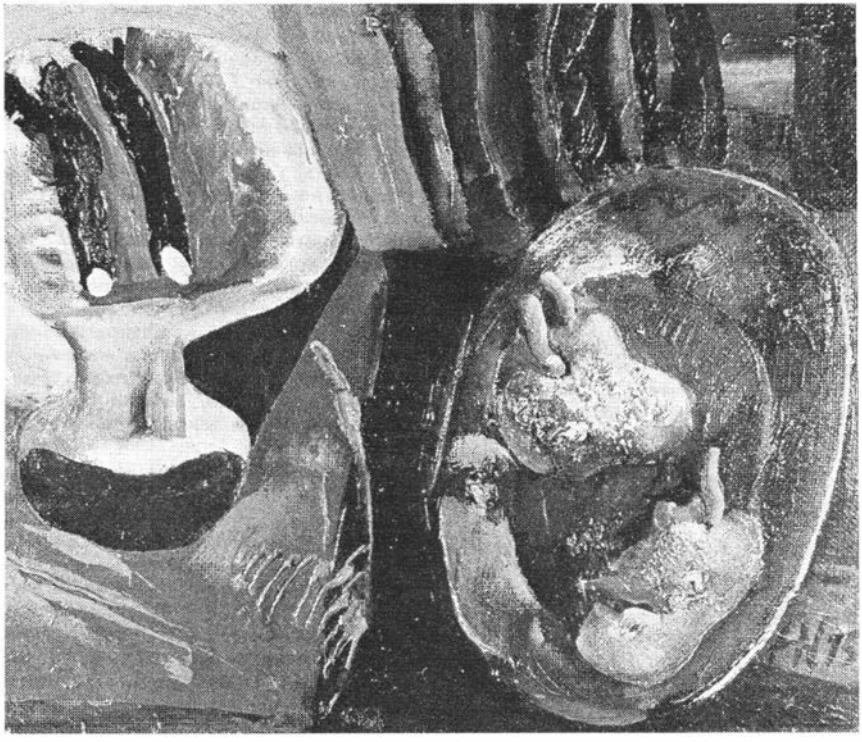
Один дотошный критик заметил — Гребенщиков заменил в тексте народной песни «Город золотой» «стену» на «звезду», не поняв поэтической ценности сокровенного, рожденного духовным прозрением, быть может не понятого и самим Автором, образа. (Впрочем — вот тому опровержение — песня дожила до наших дней со стеной своей удивительной. Выходит — волокет народ, понимает толк в символике!)

Виной тут либо «осечка слуха», либо поспешная оглядка на публику, усредненную, выдуманную самим Гребенщиковым — «не поймут».

Почему я вспомнил эту неприятность хорошего человека? Потому, что беда нашего «Артконтакта» и, если позволите, «артконтактовцев» (здесь я имею в виду не только выступавших, но и слушавших-смотревших, но и устроителей) была того же свойства — фантомные проблемы разнообразного калибра — начиная с того, кому и как открывать выставку, что **говорить**, проблемы контакта с аудиторией (аудитория, весьма почтенная и разнообразная, не вступая в дискуссии, например, на вечере поэзии, благодарно проглатывала все), до, собственно, того вопроса, что же такое — современное искусство?

На мой субъективный взгляд, произошло это от взаимной готовности всех — и участников и аудитории — работать вполсилы, без перекала, как бы взаимно «снисходя»... Те же, кто ориентировался на себя (например, Аркадий Драгомощенко, например, Роман Смирнов), испортили себе если не осанку, то настроение... И, что самое печальное, причина этой... скажем, скованности, вполне понятна и извинительна, по крайней мере для поэтов. Ибо таково уж свойство сегодняшней авангардной, кухонной нашей, лучшей на свете поэзии — при даже минимальном скоплении даже такого всепонимающего, такого своего в доску, но — Слушателя — испаряться со скоростью ацетона, подменяться интонацией, жестом, нервозностью — чем угодно в н е ш н и м. И работает уже не ухо, но глаз, не нутро, но язык. Причина этого в характере сформировавшего нас времени, того периода, который сегодня назван если не совсем точно, то по крайней мере однозначно. Для нас, пишущих стихи, это был период, когда живое слово существовало публично лишь в списках, а в лучшем случае — звучало в очень малочисленных, почти всегда сугубо профессионально-единоверческих аудиториях.

Кровь человека обновляется через семь лет. В нас еще бродит застойная кровь. Дайте гражданам отвыкнуть от страха услышать обращение «гражданин»! Да услышим мы себя своими собственными ушами,



А. Никитин. Натюрморт с картошной

ушами поэта, двадцать последних лет ориентировавшегося на контакт с **читателем**, а не **слушателем!**

2. «УРА, МЫ ЖИВЫ, ХОРОШО!»

Как бы то ни было, самым спорным, а потому и выдающимся событием поэтической «программы» стал аукцион трех экземпляров самиздатовского сборника Татьяны Щербины, блестяще сымпровизированный нашим теперь уже безоговорочно любимым Иланом Полоцком.

Лично мне и сам аукцион, и все остальное показалось уместным и, по прошествии времени, случайно-необходимым. Более того — аукцион — пусть это звучит натуралистично — выявил принципиально различное отношение присутствовавших к поэзии как к продукту, материальной ценности. Явственно обозначились московский («классицистский») и ленинградский («романтический») подходы... Все, однако, обошлось — победила та особая теплота, то благостное силовое поле, которое существует между поэтами, как говорится, всех времен и народов. Во всяком случае мне хочется так думать.

И все же: что такое аукцион с точки зрения писательской этики? Вопрос этот далеко не праздный, ибо аукцион — не что иное, как наиболее простая и понятная форма помощи, меценатства, давным-давно похеренного нашим обществом по ряду разных, в том числе и наимерзких, причин.

Если попытаться рассуждать логично, стихи — общечеловеческое и прежде всего — национальное достояние, стоящее поэту «кусков жизни». А раз так, то стихи должны, обязаны стоить «кусков жизни» и потребителям поэзии — естественно, при

условии наличия таковых, как тоже говорится. Для их же, потребителей, блага, между прочим — во-первых, самиздатовская книга — вещь действительно уникальная, что даже в наше время кое-что значит, во-вторых — то, за что заплачено, ближе к сердцу... Плохо это или хорошо? Это никак. Так есть. Так устроен человек.

3. «ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬЮ, ГОСПОДИН БО-ДЗЮЙ-И!»

«Они приезжают в девять ноль-ноль» — эту телепатему я принял на исходе Международного дня защиты детей. Передал ее мне один из Линдерманов — один из близнецов, сходных как две капли воды, но один из которых работает рядовым корреспондентом в скромной заводской многотиражке, другой же является редактором солидного литературного журнала, известного далеко за нашими пределами.

Свойство принимаемых мной телепатем таково, что помещенный в них смысл гораздо более глубок и многогранен, чем слова, в которые они облачены. Вот и на сей раз — я понял, что завтра девятичасовым поездом Ленинград — Рига приедут: Виктор Кривулин, Аркадий Драгомощенко, Александр Горнон, Владимир Кучерявкин, Николай Кононов и Дмитрий Григорьев — замечательные ленинградские поэты, а чуть позже, московским: Татьяна Щербина и Роман Смирнов — замечательные московские поэты.

Стихи у ленинградцев потише и потеплее, чем у москвичей. Каков город, таковы и стихи его обитателей. Москва — город слепящего кровельного золота, Ленинград — город дымного фамильного серебра, город-мученик. Его купола, колонны и решетки проросли из черепов, костей и ребер строивших его крестьян. Гомункулос, гений, блокадник, как сказал поэт Виктор Ширали. Жаль, что он не смог выбраться в Ригу... Город, изнасилованный бесконечное количество раз, более, чем любой другой город на планете. Кажется, ни одна историческая сволочь не упустила случая постараться выжечь из него жизнь. Жизнь победила однако. И вот эта жизнь — в Риге...

Еще о стихах. Они у ленинградцев, объединенных в «Клуб-81» (в 1985 году «Совписом» была издана неожиданная как для них, так и для мира книга «Круг») — по-хорошему (что при сегодняшнем повсеместном «глобализме» чудо как хорошо!) провинциальны. Так провинциален Платонов.

В статье этой мне хочется избежать цитирования, потому что главное в поэзии сегодня — не лозунги и афоризмы (как это было у «шестидесятников»), а тончайшая метаструктура, передаваемая лишь полным текстом произведения. Поэтому тем, кто заинтересуется поэзией ленинградцев, я просто рекомендую ее где-нибудь достать... Пока покупать, кроме «Круга», которого не достать, нечего.

Я же со своей колокольни могу лишь рекомендовать обратить внимание на троих — Аркадия Драгомощенко, Александра Горнона и Владимира Кучерявкина.

...С ленинградцами, кроме как по стихам, в отличие от москвичей, я знаком не был. Выйдя на перрон, я увидел в обществе обступивших со всех сторон Линдерманов троих.

Первый — лик иконный, борода клочьями аж до пупа, на самопальной вельветке желтенькой гладью три буквы — *U.S.A.* «Из крестьян...» — смекнул я.

Второй — весь вареный — явный фарцовщик репетитор экскурсовод из интуриста — хитрый, коварный — держится главарем.

Третий был в очках в прямоугольной угрюмой отечественной оправе на злобном никотинном носу. «Из рабочих...» — предположил я. И слегка привял. Где они, властители дум?

— Александр Горнон, — сказал первый.

— Аркадий Драгомощенко, — сказал второй.

— Владимир Кучерявкин, — сказал третий.

. . . . . .

Как все же не похожи поэты на свою внешность!.. Похож ли Пушкин на того малого в бакенбардах?

Разве что глаза на «льстивом зеркале» Кипренского!.. Лишь в душевной беседе, в работе, в читке, словом — в РАБОТЕ из скорлупы прорастает видимый миру Свет, и ты узнаешь в пижонистом «иностранце» тончайшего лирика-метафориста, а в скупом рыцаре-пролетарии — эпического ириониста. А тот, бородатый... Свой синтаксис, своя орфография... Бред какой-то!

4. «И БУДЕТ ПРОХОРОВ ЗВУЧАТЬ, КАК ПУШКИН...»

Кульминационным по размаху событием фестиваля должен был стать, но не стал «Бал-маскарад» во Дворце культуры завода ВЭФ.

Из обещанного газетами не было ничего или почти ничего. Единственная рок-группа из Ленинграда «Неформальное объединение» выступила хорошо... впрочем, их выступление мало кто высидел до конца, ибо перевозбужденная аудитория а л к а л а и д е а л а...

Потом еще кто-то выступал, вот, в частности, «Коридор», наш родной, и вроде бы неплохо, но все же как-то больно «кавээнисто», без особой остроты...

В коридоре, но уже без кавычек, крутилась какая-то евровидческая псевдопанковая траливальщина. В общем, все, конечно, закончилось танцами, о развитиях которых я не знаю, ибо ушел к Линдерманам, пообещавшим напоить меня чаем с яичницей заодно с «неформальцами».

Разговор за яичницей вышел о серьезном. Единодушно решили, после краткого пересказа сюжета и цитирования избранных мест, что «Малаяземлявозрождениецелина» — книга серьезная.

— Как вы относитесь к украинцам? — с тревогой спросил ленинградский приятель-хохол.

— Украинцы — мой любимый народ,— строго ответили Линдерманы.

На том и порешили.

Что еще о музыке? В один из дней выступили «Джунгли» — коллектив наряду с «Поп-механикой» и раздвоившимися «Странными играми» — мирового класса. Один такой концерт оправдывает все.

5. «НОВЫЕ ТОВАРИЩИ»

— Все очень плохо,— произнес поэт Кононов, оглядев с высоты своего маяковского роста выставку рижских художников,— Все очень-очень-очень плохо, а особенно вон тот, парфюмерщик-одеколонщик,— и указал чудовищным оттягом канонической головы (такие головы развешиваются в витринах парикмахерских) на работу Павлова.

«Ну, ты,— подумал я,— не очень-то тут...» Подумал, но не сказал, ибо... ибо такое мнение в той же степени справедливо, как и мнение, что Павлов — гениальный художник. Ибо ничего не решает.

Павлов не оставил равнодушным нашего просвещенного гостя, он так или иначе — а как именно — сейчас неважно — спровоцировал в нем такую же реакцию, как и «Новые товарищи» ленинградца-Африки у человека в сером. Значит, вещь работает...

Да, да-да, мне нравятся работы Павлова и сам Павлов, его жена и сын, но и это, увы, ничего не меняет, а если мы захотим что-то изменить — то есть д о к а з а т ь — мы тут же вступим в область критики, более того — будущей критики. Не будем отбирать хлеб у еще не рожденных потомков. Они-то наверняка будут. И последнее слово всегда за будущим.

В целом же все три выставки (за исключением работ Духовлинова и «новых диких») производили удручающе-ретроспективное впечатление. Я подходил, уходил, вновь возвращался к работам и не мог понять — куда, в какие невидимые из сегодня долы ушел тот восторг, тот высокий кайф, которым я семь-восемь лет назад согревал свою душу, измученную всяческими «Доярками», при виде «Белой лошади» Алекперова? Где отрезвляюще горький смех при виде работ Сметанникова?

Время ушло, а вместе с ним — и то, что сопутствовало нашим картинам, нашим стихам, нашим песням — Великая Печаль и Великая Тишина. Остались лишь идеи, вложенные в

картины, и печально, и горько, и бесконечно горько сознавать, что идеи эти оказались не великими... Или печаль была не велика?

Я субъективен и поэтому несправедлив, должно быть, но я хочу быть последователен. Жалея себя, мы не сбережем то, ради чего живем. Я должен, обязан высказаться, как обязан это сделать каждый, хотя бы наедине с собой, ради спасения своего, быть может, дара. Так вот, не берусь судить и о ленинградцах, но одну из причин неуспеха рижан я вижу в том, что многие из нас за годы неконкуренции, развращающей несоревновательности и себяжаления научились не столько РАБОТАТЬ, сколько играть в Поэта, Художника, Музыканта. И даже не слегка. Даже так, что это становится заметно. Позиция деградирует в позу, поиск истины — в игру в поиск. Работа на... кого? На публику? Да бог с ней, у нее и так дел невпроворот... Именно в этом и проявляется наш «фирменный» негативный провинциализм.

Творцом **надо быть** и за это **надо отвечать.** Не на «сцене», а всегда и везде, не перед публикой, а перед...

Именно это я и хотел сказать.

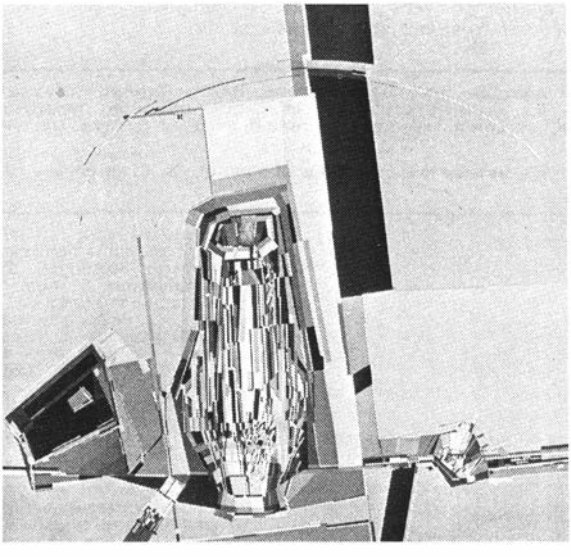
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Я пишу эти строки в вагончике-сторожке свеженького, еще не пущенного на все обороты завода, кропотливо осваивающего производство полезной и нужной вещи — пружинных решеток для матрацев, готовых смягчить любой удар. Прямо по курсу — прекрасная металлическая труба котельной, надежно схваченная на случай стихийных бед разрывающими ее диаметральными цепями, чуть правее — табунок труб-конденсаторов — светлорогих, с осиными талиями — любимый тип сексапильности.

В вагончике — стол, стул, топчан и электроплитка — на ней уже бормочет в сладостной истоме плотнейший чай. И над всем этим добросовестным и красноречивым миром — догорающее кровавым небо, которого хватит на всех.

Вот и первые звезды показались на востоке. Так и будут карабкаться-тащиться всю ночь вокруг путеводной для этих широт Полярной звезды.

Здесь бывает сказочно хорошо по воскресеньям. Все остальное — ложь.



А. Вермишев. Натюрморт

Почта «Даугавы»

«В предисловии Маргера Зариньша к статье «Зырянский Фауст» («Даугава», № 5) сказано, что одним из директоров завода ВЭФ в советское время стал сын управляющего домами Алексеева (строение на ул. Горького, 57/59), а выше — что и дом этот принадлежал Алексееву.

Можно предположить, что речь идет не о ком ином, кроме как о нашем отце — Алексееве Николае Ивановиче, который после войны работал на ВЭФе, а с 1958 по 1962 директорствовал и умер на посту директора.

Этот факт нас очень удивил. Из биографии отца и со слов ныне здравствующего его брата мы знаем, что их отец, а наш дедушка был железнодорожником, а жена его — учительницей рукоделия, позднее работала упаковщицей. После ранней смерти деда в 1916 году на руках у бабушки осталось трое сыновей, из которых старшим был наш отец, которому было пять лет. Все дети рано пошли работать: братья отца с 14 лет работали малярами, а отец давал частные уроки, трудился на лесопилке, был рабочим у землемера; после окончания университета работал на испытательной станции сельскохозяйственных машин вплоть до 1939 года — и нигде не проскальзывает сведений о дивидендах с какого-то домовладения.

Все места проживания нашей семьи никоим образом не были связаны с упоминаемым домом на улице Горького.

Учитывая все сказанное, просим вас ответить, имеет ли отношение к нашей семье владение домом на улице Горького, 57/59, имеет ли указанный в статье Алексеев отношение к нашей семье?»

Редакция попросила ответить на заданные вопросы автора предисловия к публикации «Зырянский Фауст» Маргера Зариньша.

«Я приношу свои извинения редакции и читателям журнала «Даугава» за неточность, которая вкралась во вступительное слово к «Зырянскому Фаусту».

Свое сообщение я основывал на словах сестры моего отца, некогда работавшей секретаршей профессора Жакова (она умерла лет двадцать назад, дожив до глубокой старости):

— Знаешь ли ты, что сын нашего старого домовладельца Алексеева, который учился на электроинженера, стал директором ВЭФа? — сказала она. — Ты ведь помнишь этого молодого человека?

Да, я помнил, что сын Алексеева в самом деле учился на инженерном факультете ЛГУ, поэтому и упомянул его. Но выяснилось, что ошибся. Прошу принять мои извинения.

М. ЗАРИНЬШ».

Авторы снимков в тексте: Валтс Клейнс, Эдуард Петерсон, Гунар Янайтис.
На первой странице обложки: обломок памятника Лачплесису (скульптор К. Янсонс), найденный недавно в г. Елгаве (см. текст на третьей обложке).
Фото **Улдиса Бриедиса**

На четвертой странице обложки: В. Гаврильчик. Зима.
Фото **Валта Клейнса**

Сдано в набор 18.07.88.
Подписано к печати 22.08.88. ЯТ 00130.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Листы — осфетная печать,
обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 17,75 ус. кр.-отт.,
10,25 уч.-изд. л. Тираж 47 000.
Заказ № 901. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996.
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998.
отд. критики и публицистики 465990.
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства **ЦК КП Латвии.**
226081. Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

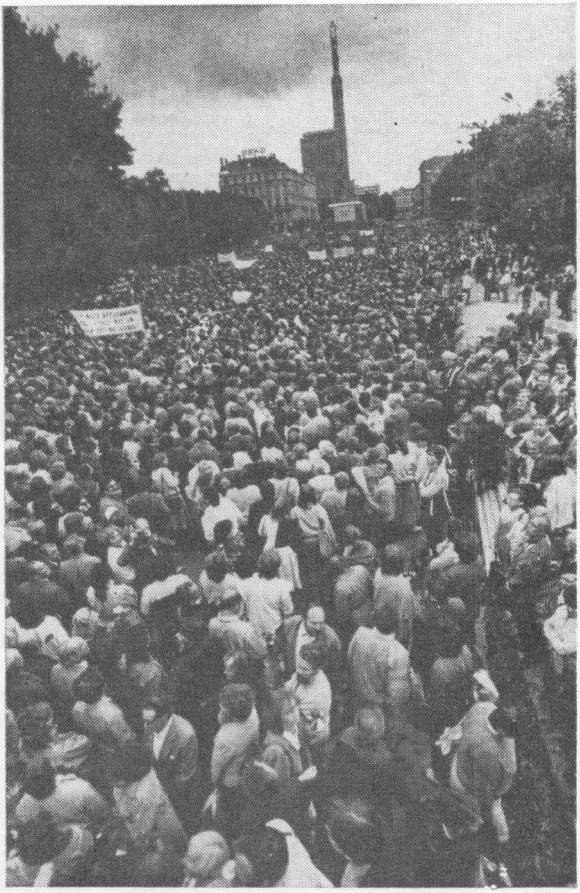
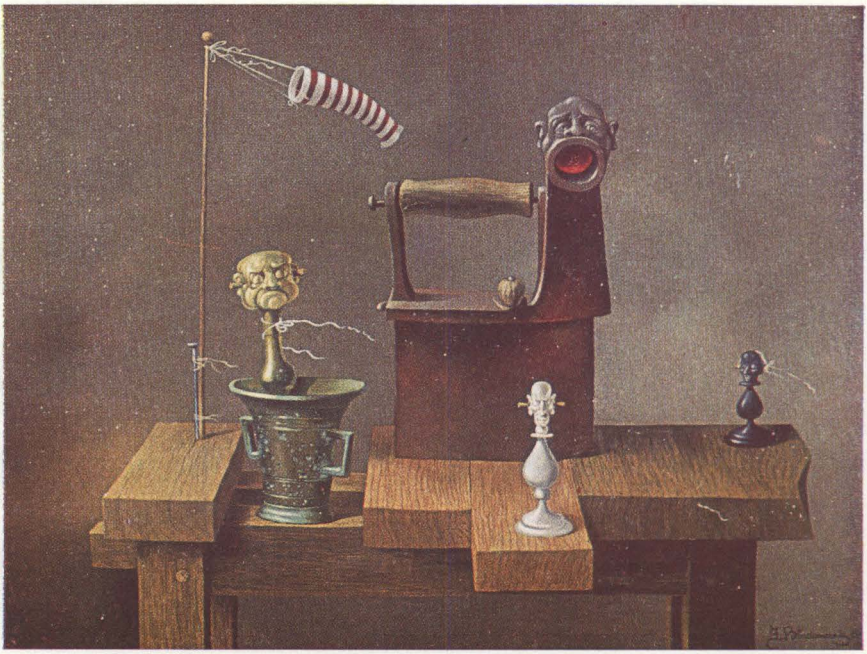


Фото
Юриса Криевиньша

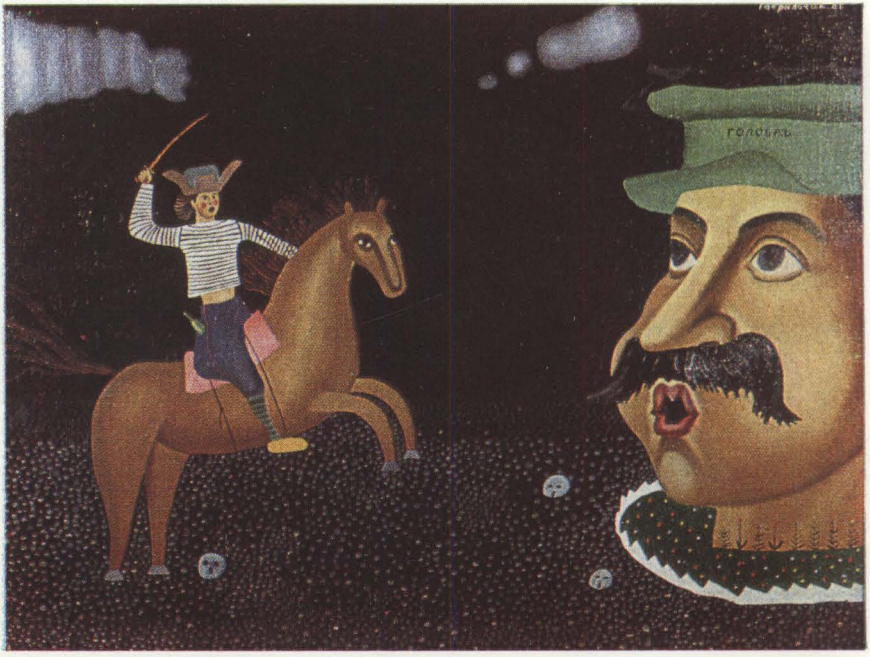
По Латвии прошла волна митингов памяти жертв сталинизма. Тысячи людей из разных концов республики участвовали в митинге и демонстрации, организованных 14 июня Клубом защиты среды и Комитетом молодежных организаций при ЦК ЛКСМ Латвии. Тут же было собрано 44 517 рублей пожертвований на создание памятника жертвам сталинизма. Митинг показал единство отношения присутствующих к культу личности, выразил единое одобрение перестройке и выявил необходимость демократического, принципиального диалога между представителями далеко неоднозначной гаммы общественных настроений.

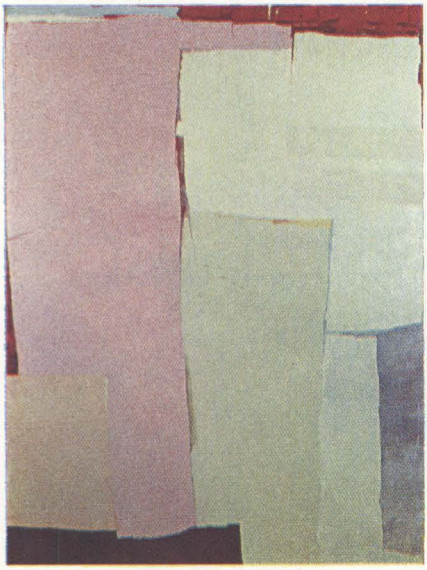
К жертвам сталинизма можно отнести также памятник герою эпоса А. Пумпура и латышских народных сказок Лачплесису в г. Елгаве. Его создал скульптор Карлис Янсонс. Это не единственный памятник в числе других произведений искусства, попавших в конце сороковых — начале пятидесятых годов в «немилость» и — по велению властей — уничтоженных. На первой странице обложки представляем остаток памятника, откопанный во дворе одного из домов в мае.



Ю. Биндеманис. Натюрморт

В. Гаврильчик. Бой Руслана с головой

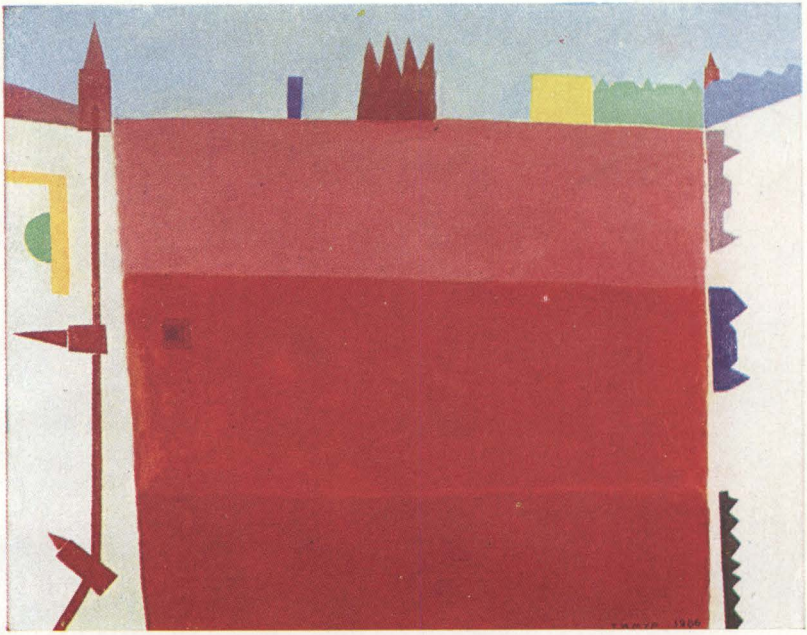




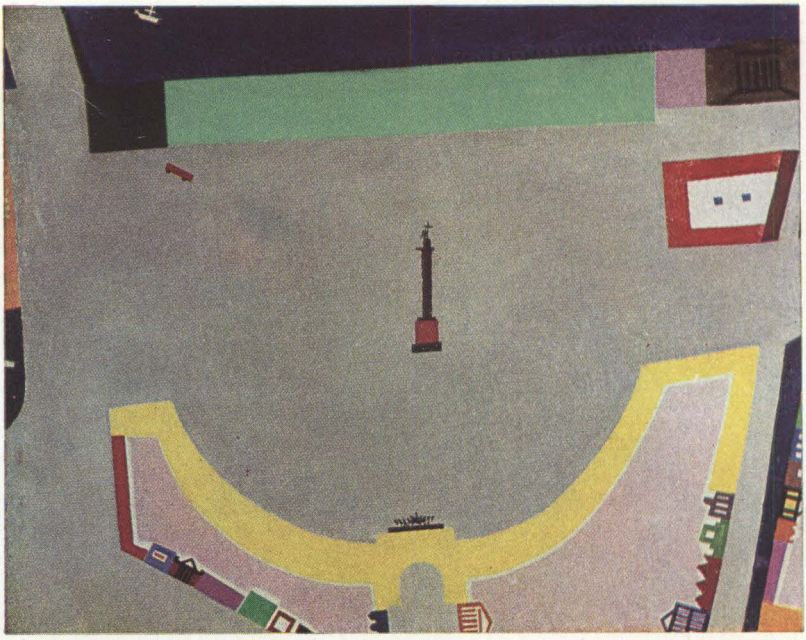
В. Андреев. Композиция

Г. Богомолов. Композиция

С. Сергеев. Новый стиль. Автопортрет

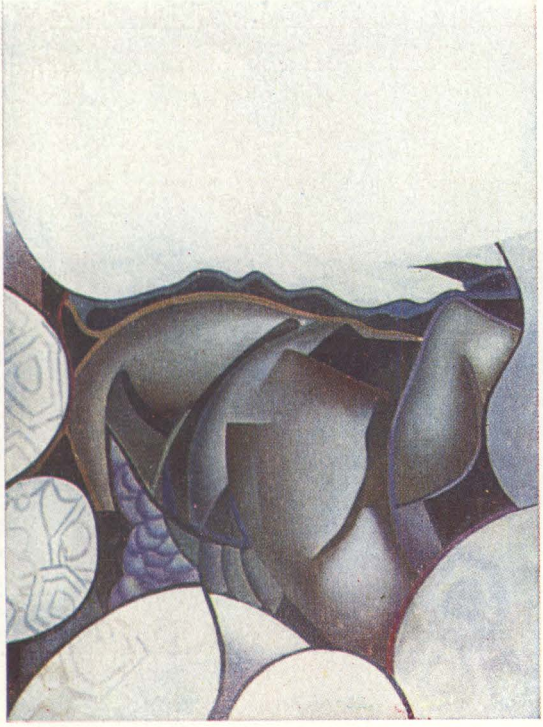


Тимур. Красная площадь



Тимур. Дворцовая площадь

В. Глушенков. Река времени



А. Лебедев.
Кора земли

45 коп. Индекс 77123

«ДАУГАВА», 1988, № 9, 1—128